



Василий Петрович Тишков
Последний остров
Серия «Сибириада»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=14654367
Василий Тишков. Последний остров: Вече; Москва; 2015
ISBN 978-5-4444-3026-2, 978-5-4444-8296-4

Аннотация

Образец добротной прозы роман Василия Петровича Тишкова «Последний остров» открывает удивительный мир подростка, оставшегося в военные годы за лесника в сибирской деревне. В романе – ожидание окончания войны и борьба с браконьерами. Откровение после множества похоронок, что и после войны придется выполнять ту же титаническую работу за троих, потому что мужики остались на поле брани. В нем – мир отношений между поколениями. Первые открытия пробуждающейся души. Первая любовь. Первая защита родного леса и его обитателей как символа Родины.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	10
Глава 3	14
Глава 4	21
Глава 5	27
Глава 6	36
Глава 7	44
Глава 8	49
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Василий Тишков

Последний остров

*Другу и помощнику во все эти сорок пять лихих лет Тамаре
Николаевне с любовью и благодарностью ПОСВЯЩАЮ*

*Труд – наша молитва.
А.И. Герцен*

© Тишков В. П., 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

Глава 1

Знак над Сон-озером

Неудержимо, скоротечно и с лихой веселостью проносились над землею одна за другой вешние грозы – предвестники теплого добычливого лета с повседневными хлопотами в полях, в лесу и на своем подворье. После короткого, с громами, проливня так же весело и надежно светило солнце, чтобы успеть навести порядок на земле и не превратить ее в болото, а то и вовсе в погибель. Казалось, свет и вода соперничают, играют взапуски, но жить-то они друг без друга не могут, да и не хотят, а потому резко и ярко, еще по-летнему молодо и будоражливо толкались неустоявшиеся запахи цветущих клеверов, молодой березовой листвы, перегретой пыльной дороги и влажных приозерных камышей. Над озерами, над лесами обманчиво-призрачно плыли, струились в невидимую высь нарождающиеся дожди.

По всем пределам, где означалась смена долгой студеной зимы животворящим летом, грозы неминуемо сближали небо и землю. И тогда она вздыхала могуче и спокойно.

А в то июньское воскресенье тысяча девятьсот сорок первого года небесный гром обрушился на лесной край внезапно, в безоблачный жаркий полдень, и над Сон-озером объявилось как бы второе, маленькое солнце. Оно не испепелило крутого обруча берегов, не выпило таинственным огнем тихую воду, лишь томилось и плавилось само по себе, излучая нежаркий, но блистающий свет.

Услышали гром и заметили огненное диво шедшие из лесу к Сон-озеру Яков Макарович Сыромятин и его сосед по крайнему на селе околотку Мишка Разгонов. Остальным нечаевским жителям в тот день было не до чудных и непонятных видений – в деревне стоял дым коромыслом: свадьба шумела, самая отчаянная, веселая и многолюдная из тех, какие случались в Нечаевке на памяти Якова Макаровича Сыромятина.

Играли свадьбу обществом, всем колхозом, потому что молодые – сиротские дети: почтальонка Анисья и тракторист Витька Князев, оба-два заполошные что в работе, что в веселье, что в кипучей ненасытности к жизни.

Остановились Мишка с дедом Яковом: почему-то боязно стало, непривычно, когда чуть ли не над самой твоей головой еще одно светило. И то сказать, не сон ведь и не сказка, а настоящая жизнь вокруг – вот же, устали они, проголодались, поговорить друг с дружкой могут и все такое прочее.

– Эко ты, дело-то... – Сыромятин опустил руку на плечо Мишке, не то придерживая соседа, не то сам себя притормаживая. – Опять пожаловало... А я уж и забывать стал...

Мишка тут же «кинул» несколько «почемучек»:

– А что это? Оно живое? Тогда почему светит, а не греет? Почему ты сказал: опять пожаловало?

Дед Яков склонил сивую голову, как бы стараясь и Мишку увидеть, и чудо это световое не проморгать.

– Жисть-то, она длинная у меня удалась. Пожалуй, чуть ли не целый век прошел с того дня, как событию произойти. Я ишо без порток тогда бегал. А помню... Тоже вроде диво объявилось в самый раз над Сон-озером. В ту пору война с турком случилась, назвали ее Крымской опосля. Теперь, поди, новый знак людям подается... А ну – слушай...

– Скажешь тоже – слушай, оно ж безъязыкое.

– Все, Михалко, в окружении нашем говорить умеет, только всяк предмет на свой манер знаки подает.

– Деда, а пошто оно холодное, солнышко-то?

– Не солнце это, Михалко, а обман зрения.

– Во-на!

– Да. Потому как в природе много чудес разных, особенно перед грозой. Ишь, парит как. Быть снова грозе. На земле все живо и жить должно с понятием для человека. Уразумел?

– Не-е...

– Вот чадушко... Ну... как бы сон это. Ты не пужайся.

– Да я и не пужаюсь, нас же двое с тобой. Только вот жалко, что огненных красок нет у меня, а то бы нарисовал...

Тут снова раздался тревожно-непонятный и как бы подземный гул.

Блистающий, до рези в глазах, холодный оплывный диск вдруг качнулся над Сон-озером и, стремительно раскручиваясь, двинулся к старой березовой роще, в которой все ходило от непомерной потехи ряженных. Там уже приготовились к шествию в деревню и теперь пробовали шутки, хохотали до колик. И вот вся ватага в пестрых одеждах (мужики в допотопных сарафанах и юбках, девки в широченных брюках и хромовых сапогах, парни в диковинных масках птиц и зверей) вывалила из рощи с барабанным треском, улюлюканьем, свистом, с каким-то бесовским маршем в пару гармоник – одна уж охрипла, а другая, того гляди, захлебнется от восторга, – с забористыми частушками, с визгом молодых, да еще с таким шальным настроением, что со стороны Мишке Разгонову казалось – сейчас эта развеселая кутерьма устремится через поскотину, захлестнет деревню и все там в ней: дома, палисады с тополями, старую церковь, больших и маленьких людей – все пойдет в пляс, в сумасшедшее движение.

– Деда, а пошто мы с тобой не на свадьбе?

– По то, что работа у нас. Вот и сейчас, уйдет потеха из рощи – доглядеть надо, може, папиросу кто обронил или другое баловство случилось. Без пригляду лес нельзя оставлять.

– А у них разве нет работы?

– А я чо говорил? Трава переставляет – косить пора. Не успеешь глазом моргнуть – хлебушко поспеет. Лето – припасиха, зима – подбериха. Понятно? А они сдурели будто. Испокон веку гулянья по осени зачинали. Неслухи... Сказал Кирюшке – хоть ты и сын совсем взрослый и даже председатель Совета, а вожжами тебя поучить не мешало б. Так он смеется. Говорит: народ шибко просил, и мы с тобой, батя, тоже народ. Пусть гуляет свадьба. Работать потом будут с легким сердцем. Да и жениху по осени в армию на действительную отправляться. Уйдет, а здесь дом, семья. Все по-людски...

– Кирилл Яковлевич всегда дело говорит.

– Оно, конечно, семья – дело хорошее, но уж что-то через край нонче этого веселья. Не к добру загодя радоваться, когда амбары пусты...

С дальней западной стороны запогромыхивало по-настоящему, завоссияло, потянуло прохладой. Там, над лесными островами, обозначилось круглое бельмастое облако. Оно тяжело двигалось, вбирая в себя восходящие миражи, не плыло вольготно и ровно, а, подобно сплюсненному снизу и сверху мутно-мыльному пузырю, перекачивалось на невидимой и ухабистой воздушной дороге.

Заметив очередного грозового гонца, – уж которого за неделю! – разнаряженная потеха еще сильнее зашумела и устремилась к деревне. А из Нечаевки в это время тройка разномастных лошадей вынесла свадебный тарантас, украшенный лентами и гирляндами полевых цветов. В тарантасе – жених с невестой, дружки да гармонист. На кучерском месте восседал пьяный без вина (потому и доверили тройку, что не пил горькую вовсе) Микенька Бесфамильный.

– Сторони-и-ись!

Загляделся Мишка Разгонов на тройку. Вот она пронеслась через поскотину, разметая на две стороны хохочущую потеху, рванула по взлобку к берегу Сон-озера, пролетела рядом

с Мишкой и дедом, ошеломив гармошкой да яростью коней, и покатила дальше берегом к роще, огибая посиневшее вдруг озеро.

А тем временем туго замешанное и закрученное облако стало разворачиваться и превращаться в лохматую с подпалинами тучу. Сильными порывами, с оттягом дохнуло жарко-влажным ветром, таким упругим, хоть топор вешай. По озерной глади обозначилась рябая да мелкая волна, схожая со стиральной доской. Истошно и глупо заорала попавшая под низовой ветер ворона, заметалась над самой водой и еле вымахала на своих коротких помятых крыльях в сторону рощи.

По крутому берегу, поросшему низко стелющейся полынькой, опрометью пробежал перепуганный вороньим криком рыжий суслик и юркнул в нору. Куда-то подевались, будто и впрямь их ветром сдуло, маленькие дымчатые чайки, лишь бело-розовый великан мартын упрямо и одиноко плавал в центре вскипающего озера.

А тройка вон уже где – снова догоняет потеху ряженных и снова рассекает ее, вскидывая деланный испуг, смех и суматоху.

Резко обозначилась грань слепящего дня там, где стояли Мишка с дедом, и густо-сумеречной, почти чернильной тени за озером на поскотине.

– Счас жажнет!

Мишка прижался к плечу деда Якова, но, наверное, больше из озорства, потому как грозы не боялся.

– Обойдется, – неуверенно проговорил дед Яков.

Почти одновременно взвосьяло десятками молний, и так шарахнуло коротким, трескучим и рваным гулом, что дед Яков невольно присел с придыхом: «А-а...» – будто его неожиданно шибануло током.

Мишка засмеялся над промашкой старика.

– А счас еще пуще жажнет! – крикнул он весело.

– Чуча тебе на язык-от, басурман...

И точно – жажнуло как из пушки над самым ухом. Тут уж и Мишка присел, обхватив колени старика.

– То-то, варнак, – улыбнулся дед Яков. – Вставай. Обошлось вроде. Гляди, как полощет за озером-то.

На поскотине, вкривь и вкось припечатывая зеленые травы, хлынул отвесный, тяжелый ливень, сверху донизу прошитый лучами послеполюденного солнца.

«Слепой дождик, – обрадовался Мишка. – Дождик кончится, будет радуга».

С неменьшим любопытством и дед Яков наблюдал, как ливень прошумел, пронесся резко очерченной и видимой гранью меж Нечаевкой и Сон-озером, отжимаемый солнечными лучами, туманясь понизу и голубея в поднебесье, скатился к южным лесным островам. Вместе с грозой уплыло в небыль, как и появилось незнамо откуда, только что блиставшее холодным светом второе солнце, будто и не было этого дива, а так отчего-то померещилось старому да малому.

С годами и в думках своих дед Яков ворчать приучился: «Вон ведь что в мире творится: тут свадьбу не вовремя затеяли, у самого в семье сыр-бор, единственная внучка от рук отбилась. Хулиганит – спасу нет, всех деревенских ребятишек в страхе держит, не девчонка, а соловей-разбойник. Ну, то бы и ладно, в семье и на деревне еще можно все уладить, так ведь земля-то велика, даже в мыслях ее не обхватишь. Только в России-матушке в одном дне есть все времена года. Вона – здесь не успели отсеяться, а на Кубани уже хлебушко убирают. Но кроме нас еще сколько народов и земель заморских – тьма. И кругом беспокойство. Вся Европа плачет под пятой у немца. Неровен час, и на Русь пожалует непрошеным гостем. А ведь жить-то по-людски только и начали...»

– Ну, так чо, деда, идем в рощу?

– А чего теперича делать там? Ливень прошел в ней хозяином, навел порядок. И нам с тобой до дому пора!

– Дело говоришь. Свадьбу посмотрим... Maybe, Микенька на тройке покатает...

Они обошли озеро и направились к деревне.

Впереди на полнеба вспыхнула радуга. Один конец ее уперся в озеро Полднее, на берегу которого стояла Нечаевка, а другой конец накрыл Сон-озеро. Вот и оказалась свадебная деревня как невеста в короне.

Яков Макарович сумеречно молчал. Не донимал его вопросами и Мишка – у него свои заботы. Вот опять новую картину придумал. Сколько уж он нарисовал их в своем воображении – не сосчитать, а эта особенной казалась и как бы уже законченной. На ней гигантская полусфера послегрозного неба, разделенного радугой, и два блистающих солнца, и подпаленные всполохами уплывающие облака, и умытая земля в чистых зеленых одеждах. Еще на картине неторная дорога краем высевающего пшеничного поля, чуть дальше – редкий березовый колод, а за ними на берегу синего озера стоит деревня с церковью без креста и колокольных звонниц.

И еще на взгорок вылетела тройка разномастных лошадей, запряженных в легкий ходок. Сейчас тройка вихрем пронесется по той самой неторной дороге, потом краем высевающего хлебного поля мимо стайки берез. На какую-то долю секунды замерла тройка, и кажется – вот-вот оторвется она от земли и полетит, хотя с землей ей совсем не хочется расставаться, ведь кони не птицы, они привычно справляют добрую работу. Коренником запряжен крупный, грудастый конь с белой гривой; правая пристяжная – конь рыже-палевой масти, а левая пристяжная – конь вороной.

– Деда, а я новую картину придумал.

– Красивую картину-то?

– Не знаю. А ты сам посмотри, – и он показал, что будет на той картине и какими красками надо ее рисовать.

Дед кивал головою, соглашаясь с Мишкой. Все идет своим чередом – помощником растет Михалко, а то и заменой. Прилепились друг к дружке старый да малый, водой не разольешь, и никому невдомек, что же роднит их, отчего дружба такая у них завязалась. Один лишь дед Яков это знает, но скажи кому – не поверят, засмеют. Яков Макарович был твердо уверен, что на роду Мишке предписано стать самым главным лесным человеком на всей нашей земле. Вон ведь как ловко у него все получается: не было такого случая, чтобы старик дважды называл имя цветку или травинке какой – с лету запоминает; уже каждую птаху по голосу, даже сонному, различает без ошибки; на рыбалке – самый удачливый из деревенских; рисует все живое, которое с добром к человеку; сказки из старого до единой повыщеживал; какие-то песенки, не похожие на прежние, выдумывает; но самое главное – душа у Михалки светлая, значит, быть ему в лесу хозяином.

– Деда, а куда солнышко второе девалось?

– Не знаю, Михалко. Видать, померещилось нам с тобой. Это бывает... Так что никому о том не рассказывай.

– Но ты же сам говорил: Сон-озеро – око земное. На него холодные солнышки прилетают.

– Грешен, батюшко. Чудил, бывало, тебе. Да ты шибко-то не верь всем побасенкам, а верь тому, что живое и живое после себя оставляет: вон лесу верь, травам, птице всякой... А Сон-озеро и для меня загадка – вот есть оно, но может и не быть, в землю уйдет, в сон превратится...

На подходе к самой деревне и стар и млад почувствовали – на миру случилось что-то неладное. Как-то сразу померкла разудалая гулянка, захлебнулись обе гармоники, и вместо

песен с дальнего околотка Нечаевки вскинулся морозящий душу истошный вопль Маруси Хватковой.

Дед Яков заторопился, зашаркал по мокрой траве легкими бахилами, а шаги получались тяжелыми, спотыкучими, и Мишка с удивлением приметил, что сильно уж старый сосед-то его, Яков Макарович Сыромятин.

– Деда, а чего стряслось в деревне-то?

– Дождались... – Яков Макарович стащил с головы картуз, вытер им уставшее лицо, как перекрестился. – Пришла беда – отворяй ворота... Теперича, Михаил Иванович, народу нашему станет не до веселых песен...

Было два часа пополудни местного времени. А там, за Урал-камнем, уже восемь часов кряду над Россией гремела война...

Глава 2

Колыбельная сказка

– Папа, расскажи мне колыбельную сказку.
– Колыбельными песни бывают. Вот приедет мама...
– А где наша мама?
– В Ленинград поехала. Наша мама там родилась и жила до войны.
– И в войну жила?
– Да... и во время войны тоже... Тогда ей было столько же годиков, сколько сейчас тебе.
– Расскажи мне про маленькую маму.
– Но ты просила сказку.
– Ага. Колыбельную. Вот ты и расскажи колыбельную сказку о нашей маме, когда она была маленькой.

– Ладно, слушай. Только эта сказка не очень веселая...

Жила в большом городе девочка. Отец с матерью дали ей имя Аленушка. Были у той девочки голубые глаза, светлые кудряшки, а в груди билось маленькое доброе сердце.

Девочка любила отца с матерью, куклу Матрену, туманы над Невой-рекой. Еще она любила подолгу сидеть у окна и смотреть в бескрайнее небо.

Хорошо жилось Аленке. Про отца говорили, что у него золотые руки, ведь он строил самые красивые дома в их городе. Знали в том городе и маму, потому что она пела людям хорошие песни.

Хорошо Аленке и потому, что добрая кукла Матрена никогда не расставалась со своей маленькой хозяйкой; и потому, что прямо из окон можно смотреть, как река Нева открывала двери-мосты и принимала из заморских стран большие, похожие на дома корабли; и потому, что в любое время, когда тебе только захочется, над волнами можно увидеть чаек и такие же, как чайки, летящие над водой белые паруса.

А потом что-то в мире случилось...

Кто-то захотел отнять у девочки и ее город, и реку Неву, и даже куклу Матрену. Вместо чаек теперь прилетали самолеты с крестами на крыльях. Солнце все чаще закрывалось черным горьким дымом.

Это пришла война и в Аленкин город.

Отец, как и все отцы, ушел воевать. А матери было теперь не до песен. Трудно стало жить на земле. И от этого люди даже умирали.

Не помнит девочка, сколько времени прошло – много ли, мало ли, но осталась она одна в холодном полуразрушенном доме.

Она часами сидела, забравшись в уголок дивана, и тихонько плакала. Думала, что умирать не надо. Нужно как-то жить. Но придумать ничего не могла. Все, что можно было есть, уже съедено. Все, что могло гореть, еще при матери они сожгли в маленькой «буржуйке».

Хорошо кукле Матрене – она не мечтает о ломтике хлеба или горячей картофелине.

Аленушка думала, что если тихо-тихо лежать и не шевелиться, то можно прожить дольше. Так говорила мама, когда была еще жива, так говорила и соседка тетя Груня, пока сама не уснула насовсем.

Однажды Аленке приснился сон: будто идет она по улице и смотрит на витрины магазинов. Ей очень хочется войти в большие стеклянные двери, но они почему-то закрыты. Аленка только может смотреть и на веселых попугаев из шоколада, и на вкусную колбасу, и на румяные пряники. Потом появился старичок, похожий на дворника Семеныча. Он привел

Аленку домой, сам уселся на краешек дивана и достал из кармана настоящее яблоко. Оно было влажным, словно искупалось в росе, и так вкусно пахло, что девочка проснулась.

На диване и в самом деле сидел Семеныч. Девочка не видела дворника с начала войны и помнила его еще с рыжей окладистой бородой, широкого в плечах, краснолицего. Раньше, еще до войны, когда Семеныч выпивал вина или пива, он бросал работу и возился во дворе с ребятами: угощал их кедровыми орешками, яблоками, карамельками. И если какой карпуз забирался к нему на колени и теребил его бороду, Семеныч довольно улыбался и всегда приговаривал: «Ишь ты, ночка ясная», – что, видимо, выражало его восторг и удивление.

Сейчас на диване сидел маленький седой старичок: впалые щеки, морщинистая шея, печальные глаза. Семеныч теперь не работал, а занимался тем, что, узнав о смерти кого-нибудь из жильцов, помогал собрать его в последнюю дорогу. И к Аленке он пришел с тем же. Но, увидев ее открытые глаза, удивился:

– Жива еще? А мне сказали, что померла ты. Вот и хотел на последний парад тебя нарядить да к матери отвезти. Спокойствие только там сейчас, на кладбище.

– Я жить хочу, – чуть слышно прошептала Аленка.

– Всем помирать неохота. Так-то вот, большеглазая. Что же мне делать с тобой прикажешь?

– Принеси яблочко.

– Ишь ты, ночка ясная. Яблочка ей захотелось...

Семеныч болезненно улыбнулся и тоскливо сказал:

– Я уж и забыл, каковы они на вкус, эти яблоки-то. Ну ладно, чего-нибудь да сыщем.

А ты поднимайся, коли жить-то взаправду охота. Ко мне пойдем.

Они спустились на первый этаж. Семеныч жил в профессорской квартире.

– Недавно я сюда перебрался. Книжки этот профессор шибко любил, царствие ему небесное. Две комнаты ими завалены. Старинные книжки. Цены им в мирное время нет. А сейчас у всех одна забота – что поесть и как обогреться. Вот и принимаю великий грех на душу, – Семеныч перекрестился, набрал стопку книг и понес к «буржуйке». – Делать нечего...

Вспыхнул огонек, зашелестели, чернея и скручиваясь, книжные страницы.

– Эх, люди...

Семеныч вздохнул и, взяв красивый серебряный кофейник, открыл дверь в соседнюю комнату. Аленка увидела, что одной стены в той комнате почти не было. На полу лежал битый кирпич, сугробился снег, а дальше – морозная синева, река, мост, где-то поднимался столб черного дыма, по реке медленно двигались фигурки людей.

Старик набрал в кофейник снега, вернулся к Аленке и присел рядом с ней у огонька.

– Здесь будешь жить, большеглазая. А ежели что, не робей. Вот тебе охранник, – он подал Аленке маленького оловянного солдатика. – Соседа он моего охранял, профессора. Помер тот с голоду, может, и от старости. А ты молодая, потому и не бойся жить.

Но девочка все равно боялась. Особенно когда вблизи рвались снаряды или над крышами с гулом пролетали тяжелые самолеты. Тогда профессорская квартира наполнялась таинственными и пугающими звуками. Большие стенные часы начинали по-змеиному шипеть, тревожно гудеть и почему-то всегда бить ровно двенадцать раз. После двенадцатого удара старое пианино принималось кряхтеть, стонать и повизгивать, словно по его струнам бестолково маршировали полчища тараканов. Постанывали оконные стекла и, позвонев, затихали. Но к стекольному стону Аленка привыкла еще в своей квартире. День за днем стала привыкать и к новым звукам, и к оловянному солдатiku. А постоянный страх сменился тревожным ожиданием.

Маленький оловянный солдатик был похож на настоящего солдата: зеленая шинель вытерлась, половина штыка отломлена. Но он всегда стоял, если его ставили, и лежал неподвижно, если его клали. Теперь солдатик заменил девочке ее куклу Матрену, и она засыпала

в надежде, что если даже нет в квартире Семеныча, то есть кто-то невидимый в темноте, кто поставлен рядом на часах и охраняет ее сон.

Однажды Семеныч не вернулся к вечеру. Не пришел и утром.

Девочка сама растопила печку профессорскими книжками, согрелась и вскипятила воды в красивом серебряном кофейнике. Потом развернула газету с хлебом, разделила его на две равные дольки: одну оставила для Семеныча, другую легонько поджарила и неторопливо съела.

Старик и в этот день не вернулся, а вечером оставленный для него хлеб девочка снова разделила поровну. Теперь каждая долька была меньше спичечной коробки. Аленка медленно ела свой маленький хлеб и думала: «Вот придет Семеныч, увидит меня еще живой и скажет: “Ишь ты, ночка ясная, жива еще? Что же мне делать с тобой прикажешь?”»

Оловянный солдатик теперь не ложился. Он бессменно стоял на посту возле своей маленькой хозяйки. Солдатик был крохотной частицей большого города, который жил и боролся. Когда опускалась ночь и засыпала девочка, солдатик рассказывал ей о далеких пожарах, о дежуривших на крышах домов дружинниках, о крестатых бомбардировщиках в перекрестном свете прожекторов, о батальонах в морских бушлатах, молча идущих к передовой.

Последнюю в родном доме ночь Аленка тихо лежала с открытыми глазами и старалась не думать, что скоро уснет насовсем.

А в мире появились какие-то новые звуки. Может быть, и не новые, а давно забытые голоса тишины, птиц, весеннего ветра.

Утром сквозь пыльные стекла брызнуло весеннее солнце, и родились зайчики. Они уселись на пол, на пианино, на серебряный кофейник. В тишине родилась и звонкая капель. У каждой капельки свой голосок: динь-дон, динь-дзинь, тинь-линь. «Это весна», – подумала девочка, вспомнив, какая она бывает, эта весна.

Но зайчики жили недолго. Вдруг они разом качнулись и бросились врассыпную. Страшный взрыв хлестнул по окнам. Раненый дом загудел вылетающими стеклами, метелью закружившейся штукатуркой.

Второй взрыв был еще сильнее.

Кто-то высокий, в охотничьих сапогах и брезентовом плаще, показался в дверях, хрипло выкрикнул:

– Есть кто живой?

Заметил Аленку, подбежал, поднял ее на руки.

– А солдатик? – вскрикнула девочка. – Где мой солдатик?

Человек на мгновение остановился, не понимая вопроса девочки, а у нее еще хватило сил перегнуться с высоты его большого роста и схватить со стола своего маленького оловянного солдатика. Поплыли в глазах радужные круги. Силенок больше не осталось. Незнакомый человек успел вынести девочку на улицу – раненый дом через минуту рухнул в облако красно-белой пыли.

Солнечные зайчики, что заглянули к Аленке, были добрыми вестниками. По всему городу собирали голодных, больных, осиротевших детей. Теперь они были вместе, маленькие ленинградцы, девочки и мальчики. Впервые за много голодных месяцев их напоили настоящим ароматным чаем, от которого кружилась голова. Потом всех одевали потеплее, кутали в одеяла, солдатские полушубки и усаживали в машины и подводы. Сирот войны первыми увозили из города, как только открылась Ладожская трасса.

При выезде из города Аленка увидела похоронную процессию. Гроб, сколоченный из свежих досок, стоял на санях. Сани тянула худая лошаденка. Сзади шли три музыканта. Один играл на медной трубе, второй растягивал мехи гармони, а третий бил в большой барабан.

Удивительно стало Аленке от такой необычной музыки, которая совсем не походила на похоронные марши. Она напоминала девочке какую-то знакомую песню. И еще было удивительно то, что встречные плакали. Много ведь было уже горя, и смертей было много, но люди не плакали. А теперь вот с ними что-то случилось.

– Наконец-то по-людски хоронят, – услышала Аленка горестный вздох возницы.

Когда машины и подводы уже приближались к противоположному берегу большого озера, в небе начали рваться снаряды. Машины прибавили скорость и успели проскочить в прибрежный лес, а лошади, напуганные взрывами, заметались, не слушаясь возниц. Одна подвода угодила прямо в ледяную пробоину. Лошадь рванулась, ударила копытами по кромке льда и с печальным стоном погрузилась в воду.

Аленка услышала отчаянный крик возницы: «Спасите!» – и ее лица коснулись мокрые обломки льда. Она не стала кричать, у нее просто не хватило бы на это сил, только глаза широко раскрылись в ожидании чего-то страшного.

Но вода Ладоги не успела сомкнуться над Аленкой – сильные руки вынесли ее на берег. Девочка совсем рядом увидела обветренное лицо и удивительно зеленые глаза.

Глаза улыбнулись тревожно и радостно, а когда Аленка несмело ответила улыбкой, они враз заблестели зелеными смешинками и сделались светло-карими.

– Ну? Испугалась, русалочка? Теперь не бойся, теперь оклемаешься. А я, так и быть, твоим крестным батькой стану.

Девочку переодели и теплее укутали. У этих солдат в белых полушубках и с автоматами на груди оказались ловкие и ласковые руки. Потом над Аленкой снова склонился солдат с зелеными глазами. Он положил ей в карман кусок сахара и письмо треугольничком.

– Как зовут-то тебя, большеглазая?

– Аленка...

– Ладно. Запомни, Аленка, у тебя в кармане адрес. По нему тебя отвезут к хорошим людям. Ну, будь здорова! И живи сто лет.

Солдаты ушли по лесной дороге. И Аленка услышала:

– Это сибиряки.

Разрывы зенитных снарядов пугали все меньше, а вскоре и вовсе сменились ровным перестуком вагонных колес. Их везли долго. В дороге их нагнала настоящая весна. Девочка ехала в страну, где жил до войны солдат, спасший ее на Ладоге. Страна та называлась Сибирью.

Вскоре девочка уснула, не спросив на этот раз, почему на фотографии ее дедушка такой молодой, моложе папы, – значит, что-то поняла.

Глава 3

Выстрел на острове

Так уж получилось, что в первые же дни войны ушли добровольцами на фронт все нечаевские мужики и взрослые парни. И два долгих года на войну из Нечаевки не брали. Некого было.

Классная руководительница Мишки Разгонова, учительница нечаевской семилетки Дина Прокопьевна, писала в своем дневнике:

«...Двадцать третий месяц войны. Почти два года. Первым вернулся в Нечаевку Парфен Тунгусов. Его сразу же избрали председателем колхоза. Не могу смотреть ему в лицо, страшно оно изуродовано. Вроде улыбается Парфен, по глазам это видно, а лицо плачет.

Миша Разгонов не пишет больше стихов в нашу стенгазету, и я не слышу от него бесконечных “почемучек”. Уму непостижимо, но он – лесник Нечаевского кордона. А ему ведь только исполнилось четырнадцать лет. Даже деревце не успевает за два года набраться сил и стать деревом, а мои пятиклашки за это время превратились в каких-то мудрых старичков. Послушаешь, о чем они говорят, и оторопь берет, чувствуешь себя виноватой девчонкой перед ними...

Как быстро меняются многие понятия и значения. В речи соседей теперь вместо многих слов: “ребятишки”, “парни”, “мужики”, “старики” осталось одно общее слово – МУЖИКИ. И мне кажется, женщины произносят это слово еще с большим уважением и бережливостью, чем до войны.

Уже месяц сижу на одной картошке и с ужасом думаю, что буду делать, когда она кончится. Наш преподобный директор Лопухин изволит шутить: “Д. П., вы хорошеете не по дням, а по часам. Вам так идет эта бледность”. А у меня разноцветные круги перед глазами.

Наш конюх и завхоз Тимоня получил в сельпо для учителей вместо муки соевый жмых. Мы, не сговариваясь, раздали его по классам.

У Лапухина сдохли или замерзли два поросенка. Он обменял их проезжим шоферам на пару валенок и мешок кукурузы. А отобранную осенью для поросят мелкую картошку, теперь гнилую и мороженую, продал сельповской техничке по пятьдесят рублей за ведро. Оказывается, из этой гадости делают крахмал и пекут оладьи. Анисья Князева называет их тошнотиками. Я пробовала. Верно – тошнотики.

На деревне стали поговаривать, что наш директор частенько не ночует дома и что даже две солдатки поссорились из-за него. И вот как-то зашел в школу Парфен Тунгусов. Посидел в учительской, помолчал, виновато оглядываясь, и, когда мы собрались идти на урок, вдруг сказал Лапухину:

– Александр Никитич, ты почему на войну не пошел?

– Не взяли. Бронь у меня.

– Бронь, говоришь? Это, значит, ты наподобие танка? Непробиваемый?

– Парфен Данилович, у каждого свое назначение. Даже в годы испытаний.

– Ладно. Тогда извиняй. Назначение есть назначение. Только при всех вот говорю, чтоб потом не пенял: обрюхатишь хоть одну солдатку, собственноручно твою бронь расшибу...

В первый (военный) учебный год пришло на деревню двадцать четыре “похоронки”. В этот, еще неоконченный, уже двадцать семь...»

За неделю весна превратила снег в холодную талицу, прочистила горло воронью, создала на игрища диких зверей.

В кустах боярышника и шиповника да по ложбинкам еще лежал подтаявший ноздреватый снег, а на еланках уже подсохла прошлогодняя трава, и сквозь нее прорастали первые лютики, неся на высоких мохнатых ножках бутоны цвета жаркого костра.

Казалось, будто солнце, неожиданно обрушив с небес теплый весенний поток, торопится поскорее обогреть эту необъятную сибирскую землю, уставшую и продрогшую за длинные зимние месяцы.

Возница Микентий, неказистый подслеповатый мужичонка в нагольном полушубке и невероятно истрепанном киргизском малахае, самозабвенно потягивал сигарку-закрутку и притворно-сердитым голосом покрикивал на лошадь:

– Н-но, холера, шевелись! Гитлера б на тебя, окаянную...

Мужичок Микентий был теперь незаменимой личностью в своей деревне Нечаевке. О таких говорят: «Работает, кто куда пошлет, а где близко, так и сам сбегает». Не было у него семьи, не было друзей и врагов не было. До войны он из-за своего недуга, куриной слепоты, за дурачка сходил, за блаженного. Ведь и характер у него был незлобивый, уживчивый, даже услужливый, а в этом многие видели вроде как бесхарактерность и малость разума. Но вот свалилось всеобщее горе, да ушли все нечаевские мужики на войну – теперь и Микенька хоть на плохонького, но все же на мужичка смахивал. Солдатки шутили, говоря о Микеньке: «На безрыбье и чугунок соловей». Шутки шутками, а Микентий был нарасхват. Он колхозное стадо в летние месяцы пас, и разъездным кучером в зимнюю пору служил, и длинными вечерами курил самокрутки в кругу стариков, обсуждая ход всеобщей истории и скверный характер бабки Сыромятихи.

А сегодня он ездил по срочной телефонограмме райвоенкомата на станцию Юрга. Возил туда Катерину Разгонову, солдатку. Все события нынешнего дня взбудоражили Микеньку: и телефонограмма, и вот эта девчончишка, ленинградская сиротка, которую они везут теперь в Нечаевку, и сама Катерина-солдатка, что сидит как каменная статуя, слова не обронит. Изнывал от непонятности происходящего Микенька, а спросить напрямик побаивался – уж больно строга Катерина, не любит попусту балаболить.

Микенька ерзал на передке и вроде как ненароком взглядывал на Катерину, поджидая случая заговорить с ней.

А Катерина осторожно держала в руках письмо от мужа. Она будто стеснялась сегодня своих грубых, уставших рук, привыкших за два военных года ко всякой мужской работе. Когда-то руки были нежными и ласковыми: они нянчили первенца, с веселостью исполняли посильную и приятную женскую работу в доме, успевали отдохнуть и снова искали себе заботушку. Теперь им приходилось долбить тяжелой пешней проруби на озере, пилить дрова, ворочать навоз и срывать мозоли о поручни тачек. Но не усталость и грубость рук, видимо, пугали Катерину. Глядя на свои руки, она боялась, как бы и душа ее не очерствела, не захрюкала на тяжелой работе и в долгой разлуке с мужем. Вот получила долгожданную весточку от Ивана, а ни слез, ни радости нет. Она знает, что потом и выплачется, и посмеется на радостях, а сейчас что-то затвердело в груди, дышать даже трудно. Да еще этот «подарочек» от Ивана. Оно, конечно, сиротку Катерина приютит, горемыка к горемыке – легче беда покажется.

Девочка сидела неподвижно, закутанная в черный вязаный платок. В ее глазах остановились далекий испуг и уже недетское страдание. Вдруг глаза девочки дрогнули и чуточку потеплели.

Замигали и подслеповатые глазки Микеньки, а губы его расплылись в детской улыбке.

– Ишь ты, диво какое...

У дороги стоял олененок и с любопытством смотрел на приближающуюся повозку.

– Ох, глупенький... Отбился, видать, от матери-то... – тихо и с горьким вздохом сказала Катерина.

– А чо ему мать? Знай жуй траву да нагуливай мясо, – Микенька беззаботно сдвинул на затылок малахай. – Ить чо получается: к осени вот с такого неказистого головастика мяса будет поболее, чем с любой коровы.

– Мели, никово-то! Сосунок ведь, пропадет один...

– А може, как есть, уж того, осиротел, – сказал Микенька почти весело, не думая всерьез над словами. – Волк аль человек загубил олениху-то.

Лошадь испуганно фыркнула, и олененок, по-смешному взбрыкнув всеми четырьмя ногами, побежал сначала краем дороги, потом скрылся в лесу.

– Катерина, – обернулся Микенька к женщине, уж шибко ему поговорить хотелось да и случай вроде подвернулся. – Так чего твой Иван-то пишет?

Она поправила на голове платок и сердито глянула на бестолкового возницу.

– А тебе какая забота?

– Да мне што, мне так, для антиресу...

– Воюет. Как все мужики, так и он. Чего теперь делать-то остается?

– Знамо дело. На то она и война, чтоб изничтожать друг дружку. Скоро одни бабы да мальцы поостанутся. Понятия у этого германца нет, что ли?

– Если у тебя полная голова понятия, поезжай да образумь кого следует.

– Я што... А тебе вот с двумя каково теперича?

Катерина, круто вскинув голову, одними глазами заставила его замолчать. Микенька поперхнулся дымом своей самокрутки, кашлянул в кулак и отвернулся.

– Н-но, лешай... – в сердцах понужнул он уставшую лошадь. В глубине лесного острова приглушенно грохнул выстрел. По лицу девочки пробежала тень. Не то вздрогнула, не то всхлипнула она. И закрыла глаза.

Выдавливая из колдобин талицу и натужно ревя моторами, шли большаком тяжелые американские «студебеккеры». Партию военнопленных везли в лагерь на новые лесоразработки.

Ганс Нетке ехал в кузове последней машины. На повороте колонна обогнала повозку. Ганс с интересом проводил взглядом женщину с печальным и красивым лицом, возницу в экзотическом головном уборе и закутанную платком большеглазую девочку. На какое-то мгновение взгляды Ганса и Катерины встретились, и пленный невольно втянул голову в плечи. Странные глаза у этих русских, серьезные и спокойные. Откуда такая сила даже в глазах женщин? От уверенности? От понимания каких-то неписаных законов истории? А может быть, от природы, от этой бескрайней земли?

В лесу раздался выстрел. И вздрогнул сосед Ганса, Фриц Топельберг. Взгляд его метнулся по молчаливому березняку.

Березы, березы... Стройные, раскидистые, белоствольная молодь и столетние с почерневшей корой, выстроились вдоль дороги, молча встречая заморские машины с чужими людьми.

...Выстрел далеко прокатился по лесу. Услышал его и мальчишка-подросток, что стоял на взгорке у поворота дороги. К четырнадцати своим годам он еще не успел вытянуться, но на обветренном скуластом лице смешались озорство и серьезность, что делало подростка похожим на задиристого и неприступного разбойника. Однако маленько-то он все же подрос за два военных года, так как одет сейчас был во все отцовское. Велико непомерно, но основательно: заячий треух, съезжающий то на глаза, то на ухо; фуфайка с пуговицами на левой стороне, как у всех заправских охотников; на ногах телячьи поршни, завязанные ременными тесемками у щиколоток; за плечами, конечно, старенькая берданка тридцать второго калибра и вещмешок из холстины. Ну чем не мужичок-разбойничек с большой дороги?

Мальчишка проводил взглядом «студебеккеры», поправил треух, опять съехавший на глаза, и пошел на звук выстрела. Он шел и ворчал, как старуха Сыромятиха: «Прямо све-

топреставление с самого утра. Еще затемно прибежала Татьяна Солдаткина, председатель сельсовета, и строго-настрого предупредила: в ближайшие дни далеко не отлучаться – пригонят военнопленных человек сто, и надо им отвести делянну для заготовки строевого леса. Ни свет ни заря мать в Юргу укатила, а на ферме, поди, и телята не поены. На острове кто-то стрельбу учинил. А тут фрицев целых три машины притартали, их только здесь не хватало... А может, они и будут лес заготовливать? Тогда еще ничего. Пусть повкалывают, заразы, пусть комарье лесное покормят да дождями ненастными поумываются...»

Весенняя талица хлюпала под ногами. Над еще голыми и потемневшими от сырости кустами ракитника стрекотала встревоженная вездесущая сорока, указывая место лесного происшествия.

Вышел мальчишка на поляну и сразу увидел – беда случилась. На волглой земле лежал, недвижно раскинувшись, убитый олененок, а над ним знакомый угрюмый бородач Яков Макарович Сыромятин стоял, опершись в задумчивости на двуствольное ружье, не слыша ни сорочьей трескотни, ни шагов мальчишки. «Дела, – усмехнулся тот, – ни меня, ни сороки не чует. Совсем плохой стал дед Яков».

Старик, заметив вынырнувшего из кустов мальчишку, сначала оробел, как бы очнувшись ото сна под сильным окриком, потом деревянно улыбнулся, узнавая соседа, и тихо промолвил:

– Вот и со мною оказия приключилась... Чего делать-то будем?

Мальчишка подошел ближе, склонился над олененком. В остановившихся глазах лесного жителя матово отражались березы и клочок неба.

– Ты, што ли, его?

– Я... – устало признался Яков Макарович и вынул из ножен широкий охотничий нож. – Освежевать бы надо, дело-то к вечеру... Раз пришел, помогай.

– В сельсовет пойдем, к председателю Солдаткиной.

– Посадит меня Танька. Запрещено ведь оленей бить. Самый наистрожайший запрет на оленях и оленят...

– Так и надо посадить тебя, Яков Макарович, – обронил мальчишка не зло, а с большой обидой. – За такие дела по головке не гладят... – Он поправил на плече берданку и зашагал прочь с поляны.

– Куда ж ты, Михалко? Вдвоем бы сподручней...

Мишка остановился, насупил белесые выгоревшие брови и обернулся к старику.

– Вдвоем? Чего вдвоем-то? Живодерничать? А чему ты учил меня, Яков Макарович, когда я принимал твое лесное хозяйство? Или зима у тебя память отморозила?

– Говорю, оплошал. Совсем ошалел седни. Лиходеи завелись у нас, Михалко, и в деревне, и в лесу. Утром следы чужие на мельнице обнаружили, кто-то замком интересовался. А тут через дорогу у Чаешного наткнулся на остатки оленяхи... На хищников не похоже. Хищник бы в первую голову олененка отбил. Так что посматривай.

– Я-то смотрю. А вижу тебя. Ты лиходеем стал, Яков Макарович.

Старик удивленно глянул на Мишку, недоверчиво улыбнулся:

– Ты это всуерьез? Соображаешь, чего мелешь-то?

– Зачем тогда в лес с ружьем пошел?

– Эко диво! Всю жизнь с ним хожу. Хотел на Чаешном уток... а там... Ну и не до охоты. Лиходеев искать надо.

– Найду, будь спокоен. И про тебя Татьяне Солдаткиной доложу. Она быстро на тебя управу найдет.

– Я вот сейчас уши тебе надеру, чтобы ты знал, как со старшими говорить.

– Не надерешь. Ты теперь не старший, а просто старик. А старший здесь я. Понял?

– Тыфу! – Яков Макарович от бессилия перед этим настырным мальчишкой только развел руками. Это что же получается? Яйца курицу учить начали. И кто? Михалко! Его бывший помощничек и надежда. Да еще страху нагоняет на старика. Со смеху помереть можно. Однако сам Яков тут кругом виноват, и пусть строжится Михалко, пусть обучается на Макарыче власть свою показывать, это ему сейчас по штату полагается – несговорчивым быть, неподкупным, не глядя на дружбу и прочее кумовство. Но для виду старик шибко огорчился, заворчал, даже для куража немножечко испугу показал перед новым лесным начальством. – Выучил на свою голову... Ладно. Составляй акт, тащи его в сельсовет к Таньке Солдаткиной. А олененка я заберу все одно. Хошь верь, хошь не верь, но ненароком я его подшиб. Думал, хищник какой, а тут, ишь, дитя совсем неразумное. Теперь ничего не поделаешь. Да и голодно в деревне-то... Не хуже мово знаешь...

Мишка вздохнул. Действительно, ну что тут поделаешь? А ничего не поделаешь – прав старик, хоть Мишка и в лиходеи его зачислил.

– Ну ладно. Я погожу пока с актом-то. Забирай олененка. Только смотри не обдели Анисейю Князеву. И про Жултайку не забудь. У них, поди, еды-то совсем не осталось...

– Так-то оно так, да ведь тогда все узнают...

– Скажешь, овца закопытила, пришлось добить, вот и мясо... – Сказал серьезно, назидательно – сам в свое время слышал такие слова от деда Якова. И зашагал прочь, теперь уж не оглядываясь вовсе.

«С олененком дед и один сладит, – думал Мишка, – а вот что делать с теми, кто олениху угробил? Как их найти? Кто сбраконьерничал? Из какой деревни отчаянные мужички?»

Мишка сходил к озеру Чашному, убедился в правдивости слов деда Якова. Особой борьбы зверя с оленихой не видно, а следы человеческие распутица скрыла. Он составил акт о происшествии на берегу озера. Составил по всей форме: где, когда и что им обнаружено. Не указал в акте только о встрече с дедом Яковым и про убитого олененка. Мишка верил деду Якову. Если уж ему не верить, то головой в омут лучше.

Трудно Мишке Разгонову в работе своей бывать иногда взрослее Якова Макаровича Сыромятина. А ведь всего лишь полгода назад старик сам управлялся, еще по привычке считаясь грозой браконьеров и прочих лесных расхитителей. А еще раньше, до войны, дед Яков для Мишки был не просто соседом и знаменитым на всю округу лесником, он был для него живой книгой.

В то удивительное довоенное время Яков Макарович часто говаривал Мишке: «Жизнь – как сказка. И человек входит в нее или злодеем, или добрым волшебником». Не забыл этого Мишка Разгонов. Потому и трудно ему понять, кем же они стали теперь – злодеями или добрыми волшебниками? Ведь вперемешку-то человек не может быть в одно время и злодеем, и добрым. Конечно, не может. А что же получается? Был олененок – и нет олененка. Надо бы за такое злодейство старика в кутузку, а он, Мишка, сразу вспомнил про дружка своего Жултайку, который совсем круглый сирота и неизвестно чем питается, и еще про Анисейю-почтальонку, она вообще какая-то несерьезная женщина: все, что у нее появится из съестного, тут же тащит по соседям и все раздает, а сама потом голые чаи гоняет. Значит, и Мишка, как тут ни крути, в историю сегодняшнюю замешан. Так-то оно так, да подумать надо. Ну разве виноват олененок, что голодно в деревне? И дед Яков не виноват в случившемся нынче. И Мишка не виноват, что все лесные заботы свалились на него в неполные четырнадцать лет.

Заночевать молодой лесничок решил в дальнем урочище на старой охотничьей заимке деда Сыромятина. После случившегося ему просто необходимо было побыть одному. Сегодня он впервые поймал нарушителя, и нарушителем этим оказался его лесной учитель. Все можно было ожидать: и нападение медведя-шатуна, и безалаберных мужиков из соседних деревень, любителей запасть дровишками в чужом лесу, и браконьера, свалившего лося. Все мог ожидать Мишка Разгонов, ведь полуголодное житье многих гнало в лес, кото-

рый испокон веков кормил человека. Однако в лесу порядок должен быть, и тут уж, будь добр, исполняй его, иначе зарвешься, и сама природа накажет, да не одного нарушителя, а многих людей сразу. Сам дед Яков об этом постоянно твердил, да вот первый и попался...

На заимке еще лежал нарастающий снег – поляну окружали высоченные сосны и загоразживали подход к избушке от утренних и черных лучей солнца, а полднего тепла пока не хватало. Мишка с трудом отворил примерзшую талицей дверь избушки. Внутри, подле оконца, стоял топчан, заменявший когда надо и стол, налево от двери, в углу – каменка. Возле каменки – лучина и сухие березовые поленья, заготовленные на случай, наверное, еще дедом Сыромятиным в прошлом году.

Через полчаса камни печурки нагрелись. Мишка подкинул дровишек и долго сидел так, глядя на веселую игру огня. Ему нравилось смотреть на огонь. «Удивительное совпадение, – думал Мишка, – на воду мне смотреть так же интересно. Сколь ни смотри – все не насмотришься. Огонь и вода, такие разные, враги же друг другу, а притягивают к себе человека одинаково, не может человек без них прожить».

Мишка постелил на топчане свою фуфайку, в изголовье трех положил, улегся и стал дальше неторопливо размышлять: «Вот, к примеру, огонь и вода. Приручает их человек, приручает, а как взбунтуются, сколько бед приносят. Или, на худой конец, войну взять. Раньше просто дубинами по башкам друг друга лупили. Потом стрелы наловчились делать с отравленным наконечником. А теперь, эвон, самолетов да пушек сколько! Одних танков тыщи две, может, и больше. Ну, танк не шибко страшен: подбил ему гусеницу гранатой и все тут – ни взад, ни вперед. А вот газ ежели пустят, его ничем не подобьешь. Плывет такое облачко газовое по ветерку, травит всю живность, и забот ему мало. Или еще огнеметы придумали. С этими штуками вообще сладу нет. Один человек таким огнеметным ружьем может сразу полдеревни сжечь. Еще, чего доброго, придумают какой-нибудь танковый или самолетный огнемет, тогда и все вокруг спалить можно. Вот беда-то где будет! Коли сгорит лес, погибнут птицы и звери, вода высохнет – что останется делать человеку? Да ничего. В одночасье окочурится.

Ну ладно, поживем – увидим. Надо пока Гитлера доконать. А то что же получается: все для фронта, все для победы, а у самих скоро и портков не останется, и всех оленят в лесу перестреляют, чтобы с голоду не помереть... Жалко, конечно, олененка. Но людей еще жалче. С пустым-то брюхом не шибко разбежишься на работу, чтобы все для фронта и победы готовить.

Не так-то легко оказалось этого поганца Гитлера скovyрнуть. Вот зараза ведь, до самой Волги доперся. Откуда у него столько наглости? Да разве потерпят его? Ни в жизнь. Пишут в газете, что вся страна поднялась на врага. А иначе и нельзя. И здешние мужики поднялись все до единого. И даже врачаха нечаевская, Юлькина мать, тоже добровольцем ушла. Не хотел было записывать Ольгу Павловну в добровольцы ее муж, председатель сельского Совета Кирилл Яковлевич, да ничего у него не вышло. «Ты, – сказала Ольга Павловна, – в горнице своей мною командуй, а на случай войны я должна быть там, где люди кровь проливают, потому как имею на то звание военврача третьего ранга». Сказала как отрубила. И все тут.

Зато у сестры Ольги Павловны, Анисьи, такая демонстрация не получилась. Только что отыграли они с Витькой Князовым веселую свадьбу, а тут и война грянула. Завыла Анисья благим матом, уцепилась в Витьку – не оторвешь. А как отрevelась, увязалась за мужем к тому самому столу под красным парусом, возле которого добровольцев записывали. Тряхнула своей почтальонской сумкой и говорит: «Я в связи работаю, вот связисткой и записывайте меня. Хочу вместе с мужем на войну идти». Тут уж Витька и показал свой крутой норов: увел Анисью за акции и выволочку ей на прощание устроил. Так без молодой жены и ушел воевать.

Ушел со всеми даже конторский счетовод, хворый животом Шуваев-Аксенов – сорокалетний холостой сын бабки Секлетины. У них с нечаевским силачом Петрей Велигиным спор получился: на проводах Петря насмехаться стал над немочью Шуваева-Аксенова, да еще под веселый смех парней ухватил счетовода за ремень и как двухпудовую гирию выжал семь раз кряду. И то, сильнее Петри никого нет в округе. А счетовод хоть и бумажных дел мастер, но тоже не промах. Как он изловчится да как хлопбытнет Петрю, смех-грех да и только. Петря, сбитый головой в живот, вмиг оказался на земле со связанными ремнем руками. Никто и не ожидал от хворого счетовода такой прыти. Зато теперь, говорят, их водой не разольешь, вместе служат в полковой разведке. Больше того, этот самый Шуваев-Аксенов спас жизнь Петре: вынес его, израненного, с немецкой стороны, куда они в разведку ходили. Об этом написали бабке Секлетины командиры и благодарность ей вынесли за геройство сына.

И тракторист Витька Князев там же в разведчиках ходит. Ну, этот – оторви да брось. Ему ловкости не занимать. Во всех драках только одного Петрю и боялся, потому что Петря мог нечаянно зашибить насмерть. А всеми разведчиками Федя Ермаков командует. Чудно. Тут даже девок на гулянках целовать боялся, а там на тебе, командиром заделался над самыми отчаянными парнями.

Ну а всех главнее из нечаевских, конечно, Кирилл Яковлевич Сыромятин. Как здесь был командиром, так и на войне целым батальоном командует. Это тебе не фунт изюму.

Мировые мужики ушли из Нечаевки. Хотели до уборочной с германцем управиться, да чего-то не вышло. Два года уж дерутся с ним. Эх, пойти бы к своим на подмогу! Опять же и дома надо кому-то хозяйновать. Чтоб везде порядок был: и на фронте, и дома. Раз вся страна поднялась, стало быть, всем и стараться в делах своих надо...»

Так на старом заброшенном кордоне думал свои мальчишеские думы нечаевский лесник Михаил Иванович Разгонов. О многом успел он передумать, пока короткая предрассветная дрема не сморила его.

Глава 4

Нечаянный интерес

Рано утром Мишка вернулся в Нечаевку. Вместе с ним во двор Разгоновых ошалело ворвался лучистый сноп встающего солнца и заплясал на подслеповатых оконцах избышки.

В дверном проеме вся в полыме солнца, как на ожившей иконе, сидела на крыльце и беззвучно плакала Катерина. Плакала как-то печально и радостно. Первый раз Мишка увидел мать вот такой непонятной и первый раз по-взрослому сжалился над нею, заметив слезы и скорбно поджатые губы. Потому, наверное, и не заметил в руках матери солдатского письма, свернутого треугольником.

– Мам, ты чего это?

– А, сынок...

Она торопливо смахнула кончиком платка слезы и поднялась навстречу сыну.

– Как долго тебя не было в этот раз. Заждались мы тебя...

– Кто это «мы»? Опять, поди, в школу вызывали? Сказала бы, что недосуг мне. Работы сейчас... Лес-то просыпается. Да и новый промхоз открывается. Слышала, поди, немцев пленных понавезли. Начнут теперь лес пластать...

Говоря это, Мишка приставил к косяку ружье, снял и степенно, как мужчина-добытчик, подал матери рюкзак.

– Здесь караси. В логах нарыбалил, – он стянул с головы треух, устало опустил на заваленку и поправил на голове сбитые влажные волосы.

– Ох, горюшко ты мое, – Катерина с ласковой удивленностью поглядела на сына. – Повзрослел-то как! Вернется отец с фронта, совсем не узнает своего мужичка...

И потянула к глазам кончик платка.

– Ну вот! Опять затеяла... Ты лучше скажи, кто тут еще ждал-то меня? Дед Яков, что ли? Так он у меня дождетсЯ. Или Тунгусову приспичило дровишками разжиться?

– Не гадай, все равно не угадаешь, – мать развязала мешок и похвалила Мишку. – Вот это кстати. Молодец, сынок, хорошую рыбку ты поймал сегодня. Я вот прям сейчас и пожарю ее. А ты сбегай к соседям, попроси горстку соли. Без соли-то какое угощение...

И опять в ее интонации и в потерянно-просящем взгляде Мишка уловил что-то незнакомое, словно мать робко обращалась к чужому и взрослому человеку.

– У нас один сосед, – сразу насупилсЯ Мишка.

– Вот я и говорю, у деда Якова всегда соль есть. Тебе-то он не откажет.

– Не пойду к Сыромятину! – строго и решительно заявил Мишка. – Убийец он. Понятно? Загубил вчера олененка. Хотел даже на него акт составлять, да передумал пока.

– Поговори у меня, Аника-воин, – посерьезнела и Катерина.

– Да он же браконьером заделалсЯ! Самым что ни есть настоящим!

– А ты большой да умный стал. Уже позабыл, кто нам эти два года помогает, кто тебя на путь-дорогу вывел и на такую хорошую работу устроил?

– Ну чего ты расшумелась? Я ведь порядок соблюдаю. Война же, мам... Должен быть везде самый строгий порядок, а он... И не пойду я с дедом Яковым на мировую.

– Сынок, нельзя так больно-то уж круто. Ты еще и лес путем не научилсЯ понимать, а с людьми уже с плеча вопросы решаешь. Боязно мне за тебя... Гордыня не всегда украшает человека, и деревенские наши не любят излишне горделивых. Что вот я теперь батке твоему напишу? Что ему отвечу?

Она вдруг улыбнуласЯ и показала солдатский треугольничек.

– Отец! – вскочил Мишка с завалинки. – Мам, что ж ты молчала?! Ура! – и он зашвырнул в дальний угол двора свой треух. – Ладно, не сердись на меня. Я... так уж и быть, схожу к Сыромятину, а потом тихонько, по буковке, прочтем с тобою папаныкино письмо.

Он рассмеялся, радостно глянул на свой двор в мягкой росистой свежести. Роса блистала на прошлогодней траве, на заборе, и была она крупная, прошитая солнцем как серебряные колокольцы, ими осторожно позванивали утренние лучи. А в тени роса таилась еще туманной роздымью и походила на россыпи камушков дымчатого шпага. Но скоро и здесь появится солнце, и росинки дымчатого шпата станут совсем хрустально-прозрачными.

На крыше возмущались воробьи, а из дуплянки выглядывала скворчиха. Она недавно прилетела и выдворила нахальных захватчиков, так как много уж весен кряду высиживала в этой дуплянке скворчат. Теперь она поочередно со скворцом дежурит и ремонтирует свою квартиру.

Мишка махнул прямо через забор, до смерти перепугал соседского петуха, который собирался горланить с высокого тына, и взбежал на крыльцо. Дом у соседей старинный, крестовый, и выкрашено все в цвет переспелой вишни.

Вообще-то к Сыромятиным Мишка не любил ходить. И на то были причины. Во-первых, бабка Сыромятиха самая вредная старуха на земле. Она что те горбатая цапля и когда говорит, то будто клюет острым носом воздух. Да еще про всех сочиняет частушки и дразнилки. И про Мишку тоже. Идет он, например, из лесу или из школы, а она сидит на своей завалинке и противным, скрипучим голосом поет:

Наш сосед – брадобрей,
Бреет куриц и свиней...

Мишка, конечно, делает вид, что не слышит, но на другой день первоклашки хором встречают его этой дразнилкой.

А вторая причина – Юлька. Никак у них не получалось дружбы. Даже дрались частенько, особенно в довоенное время. Характером Юлька удалась в свою вреднющую бабку. Это бы еще ничего, но только на деревне их с Юлькой почему-то дразнили женихом и невестой. Лучше уж он на войну убежит и геройски погибнет в каком-нибудь бою за друга-товарища, чем женится на Юльке и потом всю жизнь будет слушать ее частушки и дразнилки.

Ну и этот случай в лесу. Что-то боязно сегодня Мишке встречаться с человеком, с которым они вчера нарушили лесной закон. Но идти нужно. Кроме как у запасливого старика Сыромятина соли во всем околотке и горсти не найдешь.

На кухне сидел сам старик Сыромятин, мрачный и кудлатый.

В нос мальчишке ударил пьянящий запах свежего жареного мяса. Даже голова закружилась.

А Сыромятин завтракал. Перед ним стоял полный чугунок картошки в мундирах. Узловатыми заскорузлыми пальцами дед счищал кожуру и, макнув горячую картофелину в соль, кидал в запрятанный под усами рот.

– Здорово ночевали, – буркнул Мишка.

– Слава Богу, – ответил старик. Он вытер руки холщовой тряпицей и принялся скручивать сигарку. – Чего эт ты вечорась убег? Ружьишко хоть бы помог донести. Негоже на стариков обижаться. А то вот придешь Юльку нашу сватать, так ведь не ровен час и не договоримся. Как думаешь?

– А никак не думаю. Она теперь с Егоркой дружит. Вот он и пусть с тобой договаривается.

С полатей свесилась курносая и розовощекая рожица Юльки. Она показала Мишке язык и снова спряталась. «Ну, подожди, – мысленно пригрозил ей Мишка. – Выйдешь на улицу, накидаю зеленых лягушек за шиворот». А вслух попросил:

– Соли мне дайте щепотку.

– Ох, господи, грехи наши тяжкие... – подала от печи скрипучий голос старуха.

Мишка подумал, что хозяйка сейчас и про своего Господа Бога сочинит частушку. Но Сыромятиха была сегодня чем-то озабочена – не сочинялись у бабки дразнилки. Она вытащила из печи огромный чугунок, и сразу стало понятно, откуда такой пьянящий аромат. Мишка нетерпеливо заскулил:

– Соли бы мне...

– До войны-то было времечко, – не слушала его старуха, – жили себе и горюшка не знали.

«Вот противная старуха, издевается!» – кричало все Мишкино существо, и он хотел уж было уйти, но тут перед ним оказалась глиняная миска с дымящимся ароматным мясом.

– На-ко, снеси своей горемычной, – сказала Сыромятиха и клюнула острым носом воздух.

– Какой еще горемычной? – попятился Мишка.

– Аль с луны свалился? Вечерось же вам девчущку ленинградскую привезли. Кожа да кости. А у вас, поди, и картошки-то не осталось.

Сыромятин облачился в кожаную куртку, пропитанную мельничной пылью, сунул за пазуху горбушку черного хлеба и молча вышел. Мишка выхватил у старухи горячую миску и, забыв про соль, выскочил вслед за дедом.

Яков Макарович загородил Мишке дорогу.

– Все еще серчаешь? – спросил он.

– А ты как думаешь?

– Так, поди, и я кой на кого в обиде... Сам где ночевал-то?

– На твоей заимке.

– Эх куда тебя занесло...

Мишка видел по глазам старика – хочет тот что-то сказать, а мнется, раздумывает.

– Да говори, чего там еще? Поди, Антипов опять к нам в гости зачастил?

Дед и бровью не повел от удивления. Ну и чертенок, как сквозь землю видит. За годы их дружбы, проведенные в лесу да на озерах, они научились и мысли читать друг у дружки.

– Агент он, ему положено ходить. Но почему-то за другими посыльного гоняет, в Совете налоги выколачивает. А тут три дня кряду на нашем подворье ошивается...

– Вот паразит! Ну где я денег возьму? Полгода работаю, а зарплату только раз и получил. То за боеприпасы высчитали, то за форму, а тут еще на заем два оклада подписал.

– Говорю тебе, других он в Совет к Таньке Солдаткиной вызывает...

– А-а... Ну... Кузя Бакин огрел его поленом по башке, теперь он сюда лыжи наострил. А я ведь и посмешнее могу что придумать.

– Ты не особо... Он мужик при власти. Видел, какая у него кокарда на фуражке? Тот-то! Говорит, что у него пистолет есть.

– Брехня! Трус он, вот и хвалится. Ну, побежал я...

– Погодь. Я тут все голову ломаю, кто мог оленюху на Чаешном угробить. Перебрал всех, у кого ружье есть, и ничего не складывается.

– Без ружья только Тимоня может. Он ловчее зверя. Надо бы участкового да к нему с обыском.

– Тимоню не замай. Он бы мне сам открылся. Пошурупь головой-то, пошурупь. Никак это дело оставлять нельзя. Обнаглеют лиходеи и до колхозного добра доберутся.

– За колхоз пусть Парфен Тунгусов голову ломает. Понял? Вот! Мне лесных забот хватит. В лесу я и самого Тунгусова могу прищучить.

– Какой-то ты вредный, Михалко, становишься. Прямо беда с тобой. Я одно толкую, а ты, будто без понятия, свое гнешь. Откуда у тебя эта настырность вылезит?

– Откуда-откуда... Почем я знаю, – Мишка сам понимал, что не очень-то вежлив он с дедом Сыромятиным. И не только с дедом. С иными так вовсе вдрызг разругался.

– На рыбалку побежишь сегодня? – поинтересовался дед Яков.

– Не знаю, – совсем безо всякой вредности сказал Мишка. Ему стало жаль старика, и он пооткровенничал: – Уж с коей поры в школу не заглядывал. Надо хоть контрольную написать.

– А то сбегай. Полднее возле хутора Кудряшевского лед сорвало, и в Заячьем логе гольяны кишмя кишат.

– Куда их, гольянов-то? Разве это рыба – мелочь одна.

Сыромятин подумал маленько, внимательно глядя на Мишку, а за калиткой сердито проворчал:

– Всякая живность, хоть и мелкая, в пищу человеку сейчас годна. С одной-то мякины контрольные не напишешь. Да и лишний рот теперича у вас в семействе прибавился... Соображать должен маленько...

Мишка не стал возражать (глиняная миска жгла руки), кивнул старику и убежал.

В своем дворе столкнулся с незнакомой девчонкой и в растерянной удивленности замер перед ней как вкопанный. В первое мгновение он не заметил ни ее болезненного румянца на прозрачных щеках, ни латаных валенок, ничего, кроме глаз. Глаза девчонки были огромны и печальны. Мишка даже похолодел весь, ему снова почудились грустные глаза олененка с потухающими в них березами.

Потом они одновременно посмотрели на миску с мясом. Оно, наверное, было очень вкусным и, быть может, даже посоленным. Лицо девчонки болезненно сморщилось, а по щекам потекли крупные слезы. Мишка и вовсе растерялся, не зная, что ему теперь делать с девчонкой и с этим мясом в большой глиняной миске, которая жгла руки.

...Когда вся семья села за стол, к мясу никто не притронулся. Гостья испуганно взглядывала то на хмурого Мишку, то на его печально-красивую мать, то на исходящие головокружительным ароматом куски мяса. Мишка молча ел своих карасей без соли, и они первый раз показались ему горше полыни. Настроение его испортилось только что. Пока мать жарила рыбу, он убирался в пригоне, а когда принес охапку оденков для овец, ахнул – в закуте из двух овечек стояла только одна. Вторая просто так испариться не могла. Неужели мать не устояла перед Антиповым и продала овцу, чтобы погасить налог? Овца-то суягная. Через месяц ягнятки были б, двое или трое даже. Романовские овцы – они очень приплодистые. Эта ж, оставшаяся овечка, еще молода, надежи на нее мало.

Вот и сидел Мишка за столом пасмурнее осеннего ненастья и не знал, как при совсем незнакомой девчонке начать неприятный разговор с матерью.

– Аленушка, – просила она, – ну попробуй хоть кусочек.

– Сама ешь это мясо, – буркнул Мишка, не поднимая глаз от стола.

– Ты не слушай его, деточка. Он не на ту ногу встал сегодня. С утра на мать ворчит. Ну, не хочешь мяса, выпей молочка топленого.

– Спасибо, – очень несмело ответила Аленка и стала медленно, глоточками отпивать молоко.

– Вот и умница. Тебе поправляться сейчас надо. А тепло настанет – совсем заживем. В огороде всего насадим. Нас же теперь трое работников-то. Михаил тебя и в лес поведет по грибы и по ягоды. Уж он-то самые лучшие места знает. Никто за ним в грибной охоте не угонится.

Катерина вздохнула и принялась убирать со стола. А Мишка слушал и не слушал. Чего это мать разговаривает не по делу, чего это она за словами от Мишки прячется?

– Сынок, ты сегодня опять на обход?

– А то как же? – не сразу да и то ворчливо ответил Мишка. – На Лосиный остров бежать надо. За ним ведь немцев-то поселили... Самые... Самые-пресамые лучшие роци теперь на столбы пойдут. Подчистую выпластает. Чтoб они сдохли, паразиты. Тут за своими-то глаз да глаз нужен, а теперь еще забота – лучший, строевой лес собственноручно отводи на погибель...

«Почему ты такой сердитый? – угадал Мишка вопрос в испуганных глазах приезжей девчонки. – Это из-за меня, наверное, да?»

«Ну и глазищи, – хмыкнул Мишка, – в потемках увидишь такие – заикой станешь».

Он поднялся из-за стола, достал с этажерки и небрежно кинул в сумку несколько книжек, завернул в газету пару запеченных карасей и краюшку черного хлеба. Привычно нахлобучил на голову треух и сказал матери:

– Пошел я. Надо еще в школу забежать. Дина Прокопьевна наказывала. Поди, контрольная сегодня, не иначе. – На пороге остановился: – Слышь, мам? Пошел я. Может, в сельсовет зайти?

– А зачем в сельсовет-то? – встрепелась Катерина.

– Ну, зарплату должны выдавать. И... налог у нас еще за прошлый год не уплачен.

– Да какая тебе получка, коли ты ее на заем подписал?

– Все равно, – Мишка даже кулаком о косяк стукнул. – Надо! Там, поди, Антипов ждет меня не дождется.

Она поняла, что Мишке уже рассказали о гостеваниях фининспектора, вздохнула, вытерла о фартук руки и направилась вслед за сыном во двор.

Сошла Катерина с крыльца, снова затажно завздохнула и опустилась на ступеньку. Мишка остановился в двух шагах, впол оборота глядя на мать.

– Ну что я могла с ним поделаться, сынок? Пришел вчера к вечеру опять выпивший. Сначала-то, ох, господи, любовь свою предлагал, а потом змеей зашипел. Говорит, за недоимку опишем корову. И еще сказал, мол, раньше мы плакали, а теперь вы у меня поплачете.

– Так и сказал?

– Ну.

– Вот бандитский выродок!

– Еще какой выродок-то! Да хитрющий! Ругаемся мы с ним, а тут Лапухин заходит. Тоже навеселе. Не иначе как сговорились субчики.

– А Лапухин чего оставил здесь?

– Чего... Прямо от калитки заявил, что за овечкой суягной пришел и деньги принес. Я аж обмерла. Батюшки-свет, говорю, неужто Михалка распорядился? Не отдам овечку. Как не отдашь, смеется, сама же просила меня Христа ради выручить деньгами. Вот тебе триста рублей, как просила. Антипов-то хватить у него деньги и себе в карман. А мне квитанцию в руки. Уже готовенькую, заполненную. Ну, села я вот тут на крыльце и залилась слезами.

– Мама, что же ты наделала?! Овечка-то суягна в три раза дороже стоит.

– Заговорили они меня, страху нагнали да еще стыдить начали, что я хотела деньги скрыть от государства. Не надо бы говорить тебе, да разве скроешь... Средь бела дня ограбили, а пойдешь докажи.

Мишка стоял насупившись, глубоко засунув руки в карманы фуфайки, чтобы мать не увидела его сжатых кулаков. В голове сразу мелькнуло желание схватить берданку и к Лапухину – отбить овечку. Но это и будет тогда разбой, только не хитрых мужиков, а Мишкиного вероломства на глазах всей деревни: Лапухин-то при школе живет, половину интернатского дома занимает. Позору не оберешься. Этого и боялась Катерина, боялась за Мишку – горяч

он стал и задирист, как соседский петух. А попробуй сунься к Лапухину, когда у него стражем Тимоня похлеще пса цепного.

— Ладно, мам. Ты не плачь... И за меня не бойся. За ружье хвататься не стану. Вернется батяня с фронта, мы им здесь устроим темную ночь с фонарями...

Он еще хотел спросить про девчонку, про их встречу с отцом, да отступился — итак мать вся не своя. Какие тут расспросы... А вообще-то он не знал, как вести себя с чужой девчонкой, да еще с такой, которая прям из самого Ленинграда и которая будет жить теперь в их семье. И с матерью творится что-то неладное: то плачет, то смеется, то заискивает перед Мишкой, будто он в доме один всему голова.

А девчонка-то совсем худая, кабы не померла до первой зелени. Помирать почему-то люди стали вот в такую пору, в конце зимы. Мишка это заметил еще и потому, что в его лесном хозяйстве даже звери и птицы больше всего гибли на последнем вздохе зимы.

Глава 5

Караси без соли

Нечаевка – деревня в одну улицу. Подворья полукольцом охватили озеро Полднее. За поскотиной, на взгорке, высится мельница-ветрянка, ее даже от соседних деревень видно, чего не скажешь о старой деревенской церкви, которая в дни вселенской смуты лишилась и крестов, и колокольни.

Возле церкви, среди дико разросшейся акации, под деревянной пирамидой с пятиконечной звездой – братская могила. Почти в каждом сибирском селе есть такие пирамиды: из теса, из кровельного железа, из кирпича – не то безымянная память героизму народному, не то укор безумству Гражданской войны. По другую сторону церкви – школа, деревянная, приземистая, с крашеными наличниками. Досталась она ребятишкам в наследство от бывлой купеческой застройки.

Мишка шел по улице. Треух на затылке, фуфайка расстегнута, ведь совсем уж тепло стало. Это же надо, какая весна нынче суматошная, того и гляди зелень попрут из парившей земли. Почему-то именно в эту пору случилось раньше у Мишки несерьезное настроение, так и подмывало пуститься впрыска по лужам. Но сегодня Михаил Иванович Разгенов этого не сделает. Теперь он не просто школьник, который посещает уроки от случая к случаю, он – самый молодой лесник в районе, а может быть, даже и в области. Сыромятин сказал начальству, когда рекомендовал Мишку на свое место: «Вы не смотрите, что годами он еще в мужики не вышел, зато смысленный и лес знает не хуже меня, старого. Окромя Михалки лес никому не доверю». А уж если дед Яков скажет, что те гвоздь припечатает. Никто и возражать не стал.

Да Мишке и самому казалось, что стал он намного старше своих друзей-товарищей. Значит, надо и вести себя как подобает взрослому человеку.

Он шел левым порядком, где солнце еще не подтопило протоптанную стезю, прижатую к палисадникам и тесовым воротам. Не доходя до сельсовета, увидел председателя Татьяну Солдаткину. Сворачивать поздно. И не обойдешь – стоит на тропке, руки в боки, улыбается, на голове бедово заломленная кубанка, романовский полушубок нараспашку, юбка туго обтягивает крутые бедра, хромовые сапоги блестят, еще не испачканы с утра весенней грязью. Татьяна до войны работала в МТС бригадиром тракторной бригады, а в Нецаевке уже второй год председательствует в Совете.

– На ловца и зверь бежит. Здорово, Мишка! – она по-свойски хлопнула его по плечу и протянула руку поздороваться.

Мишка слышал дома от матери, что он сегодня встал не на ту ногу. Наверное, потому и настроение его все еще прихрамывало. Мишка что есть мочи шибанул левой рукой по плечу Солдаткину, а правой с размаху хлопнул по руке, изо всех сил сжал ее протянутую ладонь.

– Привет, Танька!

Улыбка вмиг спала с лица Татьяны, она испуганно оглянулась и тихо сказала:

– Ты чего кричишь? Какая тебе я Танька? Давай задний ход.

– А какой тебе я Мишка? Мишки-дришки вон в школе сидят да еще на печке сопли на кулак мотают.

– Фу-у! И правду говорит Парфен Тунгусов, с тобой, парень, не соскучишься. А между прочим, я тебя всем в пример ставлю. Понял, нет? Ты ж у меня наипервейший кадр по сельсовету. Стоять на местах! Руки по швам!

Мишка улыбнулся. Ему нравился мальчишеский характер Татьяны Солдаткиной, нравилось и ее грубоватое обращение с односельчанами.

– Счас скажешь: «Стоп, машина! Н-нормальный ход! П-порядочек!» – и попросишь лесу на баню.

– Вот чертушко! Ловко отрегулировал! Ты как дед Яков, сквозь землю видишь.

– Зачем сквозь землю смотреть? У тебя ж в глазах все нарисовано.

– Во! Значит, до зарезу лес нужен! Такая деревня – и без бани, а? Думаешь, нормальный ход?

– Да на кой нужна она, когда в каждом огороде свои бани понастроены?

– Для порядка. Уполномоченные любят попариться. Знаешь, как с меня требуют? Отрегулируем?

– Ладно. Раз требуют...

– А что еще в глазах у меня нарисовано?

Мишка глянул в глаза Татьяне и даже засмеялся. Тут уж и Микенька бы допетрил, о чем думает в сей момент председатель сельского Совета.

– Глядишь ты на мою одежку и думаешь: «Ну до чего же, Мишка, надоел мне твой заячий треух, и когда ты наконец получишь свою лесную форму, особенно фуражку, чтобы заявляться в Совет со всей серьезностью».

– Угадал, разбери тебя леший на запчасти! А ну, еще!

– Хватит. Три раза к ряду и дурак не смеется.

– Нормальный ход. Не сердись на меня, ладно? Одно мы с тобой дело вершим. В одной упряжке. Ты в своем лесном хозяйстве кто? Представитель советской власти, защитник государственных интересов. Понял, нет?

– Да ладно, тетя Тань, слышал...

Солдаткина опять испуганно заозиралась и громко зашептала Мишке в лицо, схватив молодого лесника за распахнутые полы его старой фуфайки:

– Стоп, машина! Сдурел, паршивец? Какая тебе я «тетя?» Совсем в лесу одичал? Я еще и замужем-то не была. «Тё-о-тя». Мне двадцать один год. Понял, нет? Если хочешь знать, мне трое уполномоченных предлагают руку и сердце.

– Зачем?

– А за тем. Сватают, значит. Один даже бывший капитан. Правда, левой руки у него нет, зато правая куда как цеплючая.

– Ну и што с того?

– Где твое уважение ко мне? Где твое уважение к моей должности?

– Ты ж сама... – Мишка отодрал от себя ее руки и отступил на шаг. – Все вы мягко стелете...

– Стоп, машина! Задний ход! Да я за тебя кому хошь башку отвинчу.

– Отвинти башку Антипову.

– Антипову не могу.

– Да он же...

– Знаю. Из бывших. И сидел. И сейчас не сахар. Но он мне во-о как нужен! Налоги и заем выколачивает с бабешек за милую душу. Первые по району.

– Тогда Лапухину отвинти башку.

– Лапухину тоже не могу. Мой бывший ухажер. Скажут, мстит Татьяна, что Лапухин на ней не женился.

– Нужен он тебе как прошлогодний снег.

– Не скажи. Красивый мужик, хоть и биография подмочена. На гитаре умеет играть... Глянь! Опять Кузя базлает. Вот кому надо курью башку отвинтить. Всю изгородь сельсоветскую на растопку пустил.

У соседнего сельповского дома на грязном, еще не растаявшем сугробе переминался с ноги на ногу Кузя Бакин и, сложив ладошки рупором, истошно кричал:

– Тимо-о-ня-а!

Между сельповскими домами и школой, перекрыв улицу непролазным морем, разлилась талица. А Кузя без путевой обутки, в каких-то драных калошишках. Вот он и вызывал школьного конюха на подмогу.

– Тимо-о-ня-а!

– Эй! Кузя! – гаркнула Солдаткина. – А ну-ка иди сюда!

Кузя, прижимаясь к заплоту, прошлепал калошами к сельсовету, шаркнул рукавом по мокрому носу и с интересом уставился на Татьяну.

– Чо?

– Чего базлаешь каждое утро? Кругом обойти лень?

– Тимоня обещал меня целу неделю на закорках перевозить. А еще каждый раз сухарь дает.

– Это за што такая честь?

– Я на лето у него гусей пасти подрядился.

– А за што финагента Антипова чуть не угробил?

– Фашист он. Хотел меня задушить.

– Будет городить-то!

– Чтоб мне лопнуть!

– Расскажи.

– Не-е. Мне недосуг, – и Бакин хотел убежать. Но Татьяна схватила его за шиворот и потрянула.

– Кузя, я ведь и участкового могу позвать.

Кузя громко шмыгнул носом, переглянулся с Мишкой. Тот кивнул: давай, мол, крой голимую правду.

– У мамки спину с простуды прострелило, она и легла на печку погреться. Да уснула. А я на кровати улегся, как фон-барон под ватным одеялом. Чую во сне, как кто-то одеяло с меня тащит и рука костлявая горло мое щупает. Открываю глаза – Антипов надо мной...

– Ну?

– Под подушкой у нас всегда полено осиновое лежит – это от нечистой силы. Ну, я этим поленом и дал ему по башке. Точно угодил, аж фуражка с кокардой в лоханку булькнула... Мамка со смеху сразу выздоровела.

Смеялась от души и Татьяна.

– Вот так Кузя! Ловко ты звезданул Антипова! В другой раз не ложись на кровать.

– Ага. Побег я. Звонок скоро, а я седни орднер.

– Кто?

– Дежурный.

– Ну, беги... одер, – все еще смеялась Татьяна.

Кузя снял калоши и запрыгал босиком по грязюке через дорогу к школе.

– Крути баранку, – Татьяна протянула Мишке руку. – Так насчет лесу для бани отрегулировали, Михаил Иванович? Теперь о самом главном...

– Да знаю я, Татьяна Сергеевна. Мое дело – указать, где и сколько можно вырубать.

– План-то у них. Мы, наверное, и за двадцать лет столько лесу не перевели. Ты это, почаще туда заглядывай. Хотя у них и свое начальство есть, но хозяева-то здесь мы с тобой. Понял?

– Как не понять. Ладно, пойду.

У церкви Мишка остановился в нерешительности: и в школу надо бы забежать, и работа сегодня уж чересчур серьезная предстоит. Его догнали Юлька Сыромятина и Егорка Анисимов. Вот про кого надо говорить «жених да невеста». Вечно они вместе, хотя без конца ругаются и дерутся как кошка с собакой, а друг без дружки скучают. Прямо смех. Оба плохо

учатся, и оба любят поесть. Только Юлька всегда веселая и задиристая, а Егорка больше молчит и со всеми соглашается. У него круглые, часто мигающие глаза и оттопыренные уши, отчего он похож на филина. Его так и дразнят – Филин.

Юлька демонстративно ела пирог, а Егорка с тоской наблюдал, как уменьшается кусок, и канючил:

– Юль, отломи кусочек...

– Помычи по-коровьему, дам.

– М-му-у... – вовсе старался Егорка, но получалось очень похоже на «мя-ау».

– А теперь по-петушиному покурайкай. Ну? Слабо? Токо мяукать и умеешь.

Она повертела перед носом Егорки уже совсем малюсеньким кусочком пирога, отправила его в рот и, торопливо прожевывая, пропела дразнилку, копируя в точности свою бабу:

Филин-Егор
Влез на забор,
Хвост в трубу,
Кричит: «Мя-у!»

– Я те счас так тресну! – вступился за друга подошедший Мишка. Юлька мячиком отскочила в сторону, но нисколько не испугалась.

– А чо он кажий день попрошайничает? Я ему сельпо разве?

– Вот жадоба. А у тебя, Михалко, есть хлеб? Мамка чуть свет на работу убежала, а поесть не сготовила.

– А с чего готовить-то? С лебеды? Так она не выросла еще, – не унималась Юлька.

Мишка достал из сумки краюшку хлеба и разломил ее пополам. Подумал мгновение и отдал дружку оба куска.

– Бери. Я рыбы наелся. Вчера после обхода в логах нарыбалил.

– На полях не просохло еще?

– Куда там! Грязюка. Токо местами на островах...

– Ага. Пойду седни после школы колоски собирать.

– А я скажу объезчику, куда ты собираешься, – выпалила Юлька и побежала от ребят.

– Только испробуй, балаболка! – крикнул Мишка ей вслед. – Оттяну нос до бороды, будешь, как бабка твоя, на цаплю похожа...

Друзья уселись на высокое деревянное крыльцо церкви.

– Ешь хлеб-то, Егорка, – напомнил Мишка. – И к Юльке не приставай. Бестолковая она, забот не знает. А ты не побирушка попрошайничать. Соображать должен маленько, – повторил он слова деда Якова.

Егорка с удовольствием набил рот хлебом, но о пироге не мог забыть.

– Вот зараза эта Юлька. Такой кусмень пирога одна смистолила.

– С чем пирог-то? С мясом, поди...

– Не-е, с капустой.

– Нашел об чем горевать. Лучше бы встал пораньше да в Заячий лог слетал. Дед Яков сказал, что Полднеевое за хутором уже лед сорвало, и в логе гальяны кишмя кишат. Котлеты из них – одно объеденье.

– Я б пошел, да сачка нет.

– Сито возьми у матери, голова садовая.

– Спросить бы надо, а то за уши отдерет. Она походя меня за уши дерет.

– Ленивый ты, Егорка, вот и достается от матери. Не знаешь, будет контрольная сегодня?

– Може, будет, а може, и нет. Мне все равно.

– И в кого ты такой дундук всеравношний уродился? – Мишка засмеялся и шлепнул дружка по спине. – Ну вот скажи, почему тебя Филином дразнят?

– А почему я знаю? Похож, наверно.

– Похож... Приходи к нам сегодня ужинать. Свежати́на есть.

– Ладно.

На улице появился Жултайка Хватков, самый старший из нечаевских подростков. Он немножко важничает, что у него есть настоящая матросская тельняшка. Вот и сейчас она выглядывает из небрежно расстегнутой промасленной куртки.

– Здорово, огольцы! Никак в школу наострились?

– Куда же еще, – спокойно ответил Егорка, доедая хлеб.

– Придумали себе канитель. Шел бы ты лучше, Егорка, ко мне на трактор прицепщиком.

– Надо у мамки спроситься. Может, и отпустит. А может, и нет.

У Жултайки сразу пропал интерес к Егорке. Он презрительно сплюнул и сказал:

– Ладно, шкет, иди. Долдонь свою азбуку.

Егорка вроде даже и не обиделся. Просто встал и ушел. Это еще больше расстроило Жултайку.

– Во! Видел? Как трава. Не зря ему мать каждый день уши дерет.

– Зря ты на него так, – вступился Мишка. – Он не ел сегодня. С пустым-то брюхом сам, поди, как трава смурной ходишь.

– Что ж ты сразу не сказал? У меня мясо есть. Дед Яков вечером приволок. Говорит, медведя завалил. Обещал шкуру подарить.

– Ну и трепач ты, Жултайка, – развеселился Мишка. – Здесь медведь, там Егорку на трактор зовешь, когда сам еще в прицепах ходишь.

– На днях дают «Фордзон». Не трактор – зверь. А ты когда в лесничество перебираешься?

– Днями.

– Сподручней там. В озере рыба, в лесу птица, ягода всякая.

– Само собой, – Мишка глянул на школу, потом на веселое солнце и поднялся с крыльца. – Не пойду, однако, и сегодня в школу. Позарез на Лосином острове надо побывать.

– Далеко до острова. И дороги еще нет... Приезжая-то оклемалась? Говорят,дохлая очень.

– Городская она. Все они, городские, тошщие. Да и войну видела. Это тебе не на «Фордзоне» баранку крутить.

Они обогнули церковь и пошли за деревню на поскотину. С лица Жултайки спала веселая беззаботность, он сердито пинал растоптанным кирзовым сапогом прошлогодние кусты репейника, отворачивался от Мишки, чтобы тот не полез вдруг с вопросами о его собственной, Жултайкиной жизни. Ведь это же просто напасть какая-то, все нечаевские взяли моду спрашивать Жултайку о его житье-бытье, как будто своих забот у людей нету. Особенно Мишка, хоть и дружок, опаснее милиционера – глянет тебе в глаза, и сам все расскажешь.

– Михалко, скажи, ты взаправду на заем два оклада подмахнул?

– А чего делать оставалось?

– Хм, многовато вроде.

– Спросили меня, кто отец. Ну, я сказал, что артиллеристом он воюет. Мне и объяснили, что два оклада в самый раз хватит новую пушку сделать. А чего? Пусть делают. Может быть, моя пушка отцу достанется. Соображаешь? Тогда я вроде с батей буду вместе немецкие танки колошматить.

– Дело.

– А ты? Подписался?

– И я подписался. Только у меня оклада нет. Сказал: «Все, что на посевной зароблю, пишите в заем».

– Ого! Тоже на пушку хватит. Да еще Солдаткина два оклада! Да еще Парфен Тунгусов бычка подписал! Да остальные по возможности. Целая артиллерия получается. А ты...

– Сам-то чего расхрабрился? Артиллерия... Кавалерия... Видел я, как Лапухин с агентом от вас овечку волокли. Это ж надо! Без мяса в ту зиму будешь, да?

– А-а... – Мишка прищурился, сердито хмыкнул. – Рыбы насолить можно. Да еще што в огороде уродит...

– Корова же у вас. И теленок. Вот и мясо.

– Теленка на мясopоставку. Еще не хватит...

– Ладно. Живы будем – хрен помрем. Днями забегу посмотреть на приезжую-то. Можно?

– Заходи.

И направились в разные стороны, всяк по своим делам: Жултайка до кузницы, ремонтировать свой будущий трактор «Фордзон», а молодой лесник напрямик через поле к лесу. Мишка втайне гордился дружбой с Хватковым и во многом хотел походить на него. Особенно нравилось ему, что умеет Жултайка быть на равных со взрослыми. И выдержке его завидовал, ведь в первый же месяц войны пропал без вести Жултайкин отец Ульжабай Хватков, лучший деревенский сапожник и песенник. До войны все модницы округа заказывали ему сафьяновые сапожки. И шил он их быстро, прямо на глазах у заказчиков, распевая казахские и русские песни. И вот нет теперь в Нечаевке сапожника и веселого песенника Ульжабая Хваткова. А прошлой весной надорвалась на мельнице и умерла Жултайкина мать. Живет теперь он один в небольшом домишке на другом конце села. Сам себе хозяин. Сам за все в ответе. А главное – не сломило горе упрямого Жултайку. Весел и независим он на людях. Упрямо верит – вернется отец с фронта. И еще одно его качество нравится Мишке Разгонову – скрытая за внешней грубоватостью доброта. Никогда не обидит Жултайка младшего, а коль с кем горе случится, последним куском поделится рад.

Невдалеке от Сон-озера Мишка встретился с председателем колхоза Парфеном Тунгусовым. Он уже год председательствует. Самый первый отвоевался. Где-то под Москвой его контузило. Когда Парфен чем-либо обижен или сердит на кого, розовеет у него шрам, пересекающий лицо с правого виска до левой скулы, и щека начинает подергиваться, будто бы улыбается он, а когда смеется, наоборот, кажется, вот-вот Парфен разревется. Мишка не мог смотреть на изуродованное председателево лицо и потому всегда при разговоре с Тунгусовым утыкался взглядом ему в грудь, разглядывая пуговицы на шинели, а по теплomu времени – привинченную к гимнастерке «Красную Звезду».

Тунгусов придержал лошадь, свесил ноги с ходка и достал кисет.

Хоть Мишка Разгонов и не работал в колхозе, человек он, как ни клади, совсем не посторонний – очень даже многое теперь от него зависело: и выпаса на лесных угодьях, и деляны для вырубok, и рыбалка с охотой.

– Здравствуй, што ли, Михаил Иванович?

– Добрый день, товарищ председатель. Откуда эт ты в рань такую катишь?

– Поля смотрел. Как сам-то управляешься?

– Колупаюсь помаленьку.

– Тебе лошадь по штату положена. Пошто не берешь?

– Успеется. Вот подсохнет грейдер до Юрги, наведаюсь к начальству. Може, и дадут.

– Непременно дадут. Отец-то чего пишет?

– Как всегда: жив, здоров, чего и вам желаю.

– Ну-ну. С той, поди, ленинградской девчушкой письмо-то передал?

– Ага.

– Ну как, глянется ей у нас?

– Погодить надо. Пусть осмотрится. Еще ведь и дня не прожила, чего тут успеешь рассмотреть. – Мишка присел на ходок рядом с Парфеном, заговорил о том, что его сейчас больше всего волновало:

– Дрова-то казенные весной заготавливать станете? Или опять на весь год по чайной ложке растянете?

– Летом бы сподручней, – Парфен отбросил сигарку и стал кнутовищем счищать с сапог грязь. Левая щека его сама собой дернулась раз и другой. – Летом, Михаил Иванович, люди сговорчивее, на зелени всякой откормленные. А сейчас... бабешки одни, сладу с ними нет. Ты, говорят, накорми нас, председатель, а потом погоняй. Я што, я разве не понимаю.

– А ты поблажку дай. Им ведь и свои дрова надо пилить да вывозить. Вот, мол, вам, товарищи женщины и некоторые мужчины, бесплатный транспорт, неделя сроку и гороховая каша к обеду. Заготавливайте себе дровишки, чтобы зимой не куковать, а заодно и колхозную деляну выпластайте.

– За тягло и кашу, пожалуй, выпластает. Особых-то делов счас по артели не густо.

– Вот я и говорю... И мне с вами мороки меньше.

– Покумекаем на правлении. Ну, будь здоров, Михаил Иванович. Скажи матери, пусть на склад зайдет. Я там распорядился выписать полпуда муки аржаной для сиротки. Больше пока ничем помочь не могу.

– И на том спасибо, дядя Парфен.

– Ну-ну, не за что, – Тунгусов похлопал Мишку по плечу, попытался улыбнуться. Лицо его плаксиво сморщилось, но Мишка понял: к председателю хоть на минутку да пришло хорошее настроение.

Мишка еще постоял немного на берегу Сон-озера, потом снова зашагал своей дорогой. Шел и удивлялся, как это уже вся деревня знает о приезжей, а он только за столом и посидел с ней. Кто она, почему такая испуганная, как они там встретились с отцом в Ленинграде?

В письме было всего несколько торопливых слов: «Здравствуй, Катя. Эта девочка сирота. Прими ее как родную. Я жив и здоров. Береги сына. Иван».

Мишка улыбнулся про себя: «“Береги сына...” Что я – ребенок? Сам бы там уберегся. А мы тут не пропадем. И сиротку выходим, не безрукие».

В лагере военнопленных, к великому удивлению и радости, Мишка встретил Федю Ермакова. Все дела с отводимыми под леспромхоз угодьями не заняли и часу. У Ермакова была уже карта лесных кварталов, утвержденная райвоенкоматом. Мишке оставалось только наметить дороги и высказать свои пожелания. О другом поговорить не успели – уже сегодня первые машины с лесом должны уйти на станцию, поэтому Ермаков только и сказал, что он очень рад видеть в строгом лесном начальстве Мишку Разгонова и что они сработаются.

Ну а уж потом почти весь день Мишка провел на участке, который определил колхозникам на дрова и колхозу на деловую вырубку. Он сделал точный обмер и подыскал заранее удобное место для дороги, а то ведь повезут кому где в голову взбредет, сколько молодежи погубят.

Возвращался довольный своей работой. «Это же надо! Комендантом лагеря военнопленных и заодно директором леспромхоза будет Федя Ермаков! Он же свой, деревенский и, конечно, поймет Мишку. Раз говорит, сработаемся, значит, сработаемся». А еще Мишка был доволен, что и для колхозников выбрал удачное место. Теперь можно без суеты распределить деляну. Люди успеют заготовить дрова, пока не зазеленели березняки. Срубленные в эту пору деревья полны соков земли, жизненной силы, которую они еще не отдали листьям. Весенние дрова успевают за лето хорошо просохнуть в поленницах и зимой горят ровным жарким пламенем. Зола после них остается чисто пепельная и годится на самый лучший

щелок к субботним баням. Помоешь таким щелоком голову – и волосы становятся словно шелковые.

На поле, выбирая места посуше, несколько женщин, девочка лет семи и Егорка Анисимов собирали прошлогодние колоски. Насобирают горсть – и в сумку.

– Мало колосков нынче, – совсем без жалости, а даже как-то с облегчением вздыхала круглолицая веселая Анисья Князева. – Хорошо осенью убирали.

– На кашу все одно насобираем, – успокаивал Анисью и самого себя Егорка. – У меня уж полсумки. От пуза седни каши наемся.

– Mamka, гляди, объездчик! – закричала девочка.

– И впрямь, Микенька скачет, – испугалась мать девочки. – Вот леший недотюканный, и как он умудряется везде поспевать...

Верхом на лошади подъехал к женщинам Микенька, тщедушный, но важный, в своем неизменном потрепанном малахае и нагольном тулупчике.

– А ну, граждане, вытряхивай зерно на поле! – закричал, грозно растопырив руки Микенька.

– Сам вытряхивайся, – ответила ему Анисья.

Но Микенька проворно перегнулся из седла, выхватил у Князевой корзинку и опрокинул колоски на землю.

– С бабами воюешь, бесстыжий! – Анисья подняла с земли пустую корзинку и запустила ее в Микеньку. – Все порядочные мужики на фронте кровь проливают, а ты?! У-у, лизоблюд проклятуший! Все легкой работы себе ищешь?!

– Не замай, Анисья, казенного человека! Враз бумагу составлю!

Тут он увидел убегающего к лесу Егорку и погнался за ним:

– Стой! Стой, грабитель!

Догнал. Соскочил с лошади. Выхватил у Егорки холщовую сумку, та разорвалась, и посыпались на землю колоски, книжки, тетрадки. Егорке жаль стало разорванной сумки (опять мать уши надерет), и он заревел благим матом.

Эту баталию наблюдал шедший из лесу Мишка Разгонов. Сначала он не понял, кто это так громко ревет на все поле, а когда узнал Егорку, петухом налетел сзади на объездчика. Повалил его на землю и стал колотить.

– Лю-уди-и! – испуганным бабьим голосом завопил Микенька.

– Вот тебе, фашист! Вот тебе...

– Ой-ей! Убивают!

– На, подавись! – Мишка сунул в орущий рот Микеньки горсть колосков. – Поешь за Егорку...

– Мы... му... – крутил головой Микенька.

– Поешь за Анисью-солдатку... И за меня поешь заодно...

А Егорка не терял зря времени. Он быстренько собрал в шапку колоски, пихнул за пазуху книжки и, понукнув Микенькину лошадь, пустился наутек.

Сердобольная Анисья сжалилась над объездчиком, оттащила от него разошедшегося лесника.

– Да будет тебе. Заколотишь до смерти последнего мужичонку. Оставь хоть на развод.

Мишка поднял с земли свой треух, сердито нахлобучил его на голову и, словно ничего не случилось, сказал Микеньке:

– Иди, недотепа, лови лошадь-то, убежит ведь, – а сам принялся помогать Анисье собирать рассыпанные объездчиком колоски.

Микенька поднялся, отряхнул с тулупчика грязь и заковылял к лошади. Потом вспомнил о леснике и обернулся:

– Слышь, Михалко...

– Ну? Чего тебе еще?

– Подь сюда.

Мишка подошел.

– У тебя, случаем, закурить нету?

– Не курю я. Ты же знаешь, – усмехнулся лесник.

– Да это я так, к слову. Чего драться-то полез? Я ведь и осерчать могу. И вообще на службе...

– Може, добавить, служака?

– Э, ты опять за свое. А у меня брюхо болит, понятно? Сам вот ремень на последнюю дырку затянул, но общественного ни-ни. Не положено. Инструкция есть.

– Дурацкая инструкция. Поле-то все одно запашут.

– Тунгусов приказал гнать всех в три шеи с колхозного поля. Каждый колосок, може, еще прорастет.

– Забыл твой Парфен, что Егорка тоже колхозный и сын фронтовика. Еще раз тронешь своих – худо тебе в деревне нашей будет.

– Мы люди маленькие, – сразу струсил Микенька. – Стало быть, не куришь? Хе-хе, дела, туды их в коромысло... Ни пожрать, ни покурить нету, хоть тресни. А чего у тебя в сумке? Яиц, поди, грачиных назорил?

Мишка достал из сумки завернутых в бумагу печеных карасей и подал Микеньке.

– На, поешь. Может, полегчает с животом. Только не обессудь, караси-то без соли.

Глава 6

Стрелочник Ганс

Даже зима, закусив удила, не хотела сдавать своих позиций: упрямо держались холода, от Волги без передыха мела пронизывающая и колкая поземка. За день в траншеях набивался грязный снег вперемешку с песком, а стены узких окопов шелушились ржавой изморозью. Где густым куржаком, где белесым инеем подернулось все, что сработано из металла, а его здесь хватало с излишком, даже земля, продрогшая и гулкая, была прошита железом, как корнями деревьев.

После полудня стихло сухое твяканье минометов. Выжидал и комбат Сыромятин. А чего суетиться на ночь глядя, коль и за короткий день людям выпала недельная нагрузка?

Капитан опустил бинокль, ударил кулаком о мерзлый бруствер окопа и тихо выругался. Этот проклятый дот уже которые сутки держит его батальон и не дает продвинуться ни на шаг. Соседи слева и справа уже зашевелились, а его роты споткнулись вот на этом сквере. Роты, конечно... – от каждой осталось до взвода солдат.

Возле комбата стоял только что подошедший командир взвода полковой разведки Федор Ермаков и, прижав к заиндевелым бровям медные окуляры трофейного артиллерийского бинокля, тоже рассматривал еле угадываемую линию траншей, проходящих там, за дотом, за сквером, у полуразрушенных мастерских.

– Гляди-гляди, из-за этой черепахи и топчемся на месте, – сердился капитан. – Трижды уже посылал своих ребят.

Поземка змейками несла серый снег, вычерчивая тропки меж воронок в сторону противника, предвечерье сгустило полутени, и сквер хорошо просматривался. Бывший сквер. Теперь вместо деревьев торчали рваные пни. Дот неуклюже горбился почти на середине ничейной полосы. От него до немецких траншей не более семидесяти метров. За траншеями тянулись полуразрушенные корпуса ремонтных мастерских и жилых кварталов, где засели гитлеровцы и румынские батальоны.

Капитан прижался спиной к стене окопа, закурил, пуская дым вниз себе под ноги.

– Ничего не могу понять с этим дотом. Какой-то он нестандартный. Ну, не делают так немцы. Насмотрелся уж... Мне работать надо, а тут...

– Да, работка у нас с вами, товарищ капитан, – Ермаков сухо кашлянул, покосился на капитана за разговор не по делу. – За всю жизнь, наверное, руки не отмоешь.

– А как ты хотел, лейтенант? Чистеньким остаться? Не получится. Война, брат, не только стрелы на картах да громкое «Ура!». Тут уж кто кого, да все железом, да вот этими руками. И это сейчас наша главная с тобой работа.

– Мне кажется, что я не жил раньше... Ну, вовсе не жил. В голове и печенках одна забота – кто кого.

– Как там наши землячки-то с работенкой справляются? – поинтересовался комбат. В разведвзводе Ермакова служили трое нечаевских парней, и Сыромятин по старой гражданской привычке, здесь еще более обостренной, ревностно следил за «работой» своих односельчан.

– В порядке. Шуваева-Аксенова на днях шабаркнуло взрывной волной, метров тридцать летел по обрыву к самой реке. Ничего, оклемался. Петря с Князевым вчера приличного «языка» взяли. Румынского офицера. Князем оказался. Вот мои сегодня и гогочут: «Князев князя приволок».

– Ну ладно... Что полковой удалось? Откуда дот взялся? Не могли же его в такой мороз бетонировать.

– Зима и немцев думать заставила. Они приспособили основание старого очистного заборника. А его и авиабомбой не расколешь. – Лейтенант прямо на заиндевевшей стенке окопа начертил треугольник. – Ишь, какая хреновина получается: черепаха способна к круговой обороне. В ней три амбразуры с тяжелыми пулеметами. Вот так, треугольником. Потому каждый метр сквера и пристрелян. А траншея, что ведет к черепахе, ложная. Немцы по ней не ходят.

– Как же они тогда связаны со своими? – удивился капитан.

– Мы тоже ломали голову, товарищ капитан. А потом обратили внимание, что вон там, в конце сквера, румынские часовые охраняют... пустое место. Регулярно приходит смена караула на пустое место.

– Потому твои и князя румынского выкрали?

– Случай. Однако князь и «доложил»: их пост у канализационного колодца. От колодца по канализационной трубе связь с дотом.

– Вояки... по дерьму ползают... – Сыромятин хмуро глянул на лейтенанта. – Что же мне теперь, молиться на эту черепаху или ждать, когда соседи помогут глотку ей заткнуть?

– Я помолюсь за вас, Кирилл Яковлевич. План такой: заходить от немцев, перекрыть трубу и захватить дот. Потом их же пулеметами поддержать атаку вашего батальона. Получил «добро» на личный поиск.

Сыромятин хмыкнул.

– Приток больно... И даже пулеметы захватил. А как подойдешь скрытно к мастерским, когда их там, как тараканов, в каждой щели понатыкано?

– Часовых будем снимать сразу же после смены караулов на рассвете. Во время арт-подготовки. Пушкари уже в курсе.

– Под свой огонь можешь угодить.

– В группе прикрытия Князев пойдет. В случае чего – подстрахует. Не я, так он.

Они уточнили секторы обстрела, проходной маршрут Ермакова и вспомогательной группы.

– И у меня к тебе просьба, лейтенант. Поаккуратнее там...

– Постараюсь. Дело привычное, Кирилл Яковлевич.

То, что земляки упрямо не называли Сыромятина по званию, а по имени-отчеству, как до войны, сердило его и не всегда помогало в военной работе. На языке официальном как-то легче скрывать тревогу, провожая земляков в неизвестное, может, и на верную гибель.

– Ладно, иди, Федор. Сборы у тебя не на гулянку. Отдыхай. Ночью я сам тебя провожу.

Разбросала война нечаевских мужиков по всем фронтам, но есть земляки у капитана и в его батальоне. Где-то рядом командует батареей сорокапятки Иван Разгонов. На берегу в саперной части другой сосед по Нечаевке – Костя Анисимов. Всего в трехстах метрах командует медсанбатом родная жена. Рядом, да не сбегает каждый раз, с Федей Ермаковым и то чаще приходится встречаться. А сегодня вот еще и провожать его надо...

Ганс Нетке тащил по ходу сообщения два тяжелых термоса и корчился от холода. Ночь источала последнюю темень. Серое небо давило таким морозом, что взлетающие ракеты казались осколками льдышек. И еще Гансу казалось, что этой адской зиме не будет конца, и он тоже превратится в цветную или даже серую льдышку.

Вдруг небо взвосьяло реактивными молниями, и загремели взрывы. Ганс плюхнулся на дно траншеи, съежился, вжимаясь в рыхлый снег. Грохнуло совсем рядом, твердые комья глины упали на спину Ганса, зацокали по термосам, как падающая земля на крышку гроба.

«Это конец, – ужаснулся Ганс, – конец солдатчине, и всему конец». Хотя он никогда не был настоящим солдатом. И до войны жил спокойно: служил на станции стрелочником, вечерами ходил с женой Гертой и сыном Зигфридом гулять по берегу Эльбы, выпивал кружку пива у старого Франса и совсем не интересовался ни политикой, ни войной. Но война не

обошла стрелочника Ганса. Пять лет он не видел жену и сына. Значит, Зигфриду четырнадцать. А ему сорок. Но за последнюю зиму он совсем в старика превратился, ворчливого и трусливого.

А все началось с Парижа. Служить там было нетрудно. Ганс все время находился при кухне. Кому ружье, а Гансу суп да термосы, грязная посуда в полковой кухне да забота об огне в печи. Но однажды в увольнении он заступился за мальчишку-француза, которого просто так, ради забавы, избивал пьяный ефрейтор. Всех троих забрал патруль. Через день малолетнего француза расстреляли за попытку к бегству. Рыжему ефрейтору дали отпуск. А Ганса отправили на Восточный фронт в Россию. И сразу в Сталинград. Правда, его и здесь поставили на кухню. Но Сталинград – не Париж. А если точнее, то ад крошечный. На кухне говорят, что из этого ада одна дорога – на тот свет.

Взрывы прекратились. А в небо взвились осветительные ракеты. Ганс с трудом сообразил, что он еще жив, что надо подниматься и тащить зеленые термосы дальше.

Возле канализационного колодца Ганс застал не двух румынских солдат, как всегда, а лишь одного.

– Плохи дела, значит... – заворчал Ганс себе под нос, подходя к часовому. – Что же будет? Наверное, не зря шепчутся на кухне о большом наступлении русских. А здесь вот и солдат уже не хватает. Плохие дела...

Он присел у колодца и достал портсигар. Так он делал всегда, угощая попрошайек-румын дорогими сигаретами, чтобы один из них помог Гансу тащить второй термос по канализационной трубе. А сейчас стоял один часовой, совсем незнакомый, в короткой не по росту шинели. Часовой тихонько наигрывал что-то на губной гармошке.

Ганс нерешительно открыл портсигар. Угощать этого румына не было смысла – все равно он пост не оставит, и придется Гансу сегодня тащить два термоса по дурацкой вонючей трубе. Но руки уже сами протянули портсигар.

– Закуривай. Настоящие французские.

Часовой взял сигарету, повертел ее в пальцах и прикурил от услужливо поднесенной Гансом зажигалки. Часовой был совсем молод. Ганс успел заметить прищуренные хитрые глаза, нос с горбинкой и тяжеловатый подбородок. «Симпатичный румын, – подумал Ганс, – до войны, наверное, музыкантом был или студентом».

Ганс оттащил чугунную плиту и спустился по лесенке вниз. Часовой подал ему термоса. В это время от Волги ударили из пулеметов. Наверное, русские собирались идти в атаку или, наоборот, встревожились чем-то. Часовой быстро юркнул вслед за Гансом в колодец и сдвинул над собой чугунную плиту.

– И ты боишься смерти? – усмехнулся Ганс. – Все ее боятся. Часовой, зябко потирая руки, торопливо докуривал сигаретку.

– Холодно? – спросил Ганс, освещая фонариком заиндевелые стены. – Конечно, холодно. В такой шинели ты через час до костей промерзнешь. Давай-ка лучше помоги Гансу, – и он протянул часовому один термос. – Никто сейчас посты не проверяет. До смены успеем.

Тот согласно кивнул головой, повесил на грудь автомат и взял термос. Еще Гансу показалось, что румын загадочно улыбнулся и кивнул на промерзлую черноту узкой трубы, мол, давай, поторапливайся.

– Хоть ты и румын, а вроде ничего парень, – обрадовался Ганс. – Пошли.

Он освещал впереди себя фонариком и, скрючившись в три погибели, лез по трубе. Румынский часовой – за ним.

Труба, казалось, никогда не закончится. Но вот стало чуть просторнее. Через десяток метров Ганс постучал в массивную стальную дверь. Сначала открылся маленький глазок, потом дверь заскрипела и отодвинулась.

Под низким бетонированным куполом тускло горела маленькая электрическая лампочка.

Немцы сразу засуетились, выхватили у часового и Ганса термосы. Весело гогоча, они усадились за стол. Было их пятеро.

Ганс развязал на шее грязное вафельное полотенце, снял каску с подшлемником, что-то ответил толстому ефрейтору, показывая на своего помощника, и присел возле круглой чугунной печки отогревать руки. А часовой, неожиданно для хозяев бункера, щелкнул затвором, и длинная автоматная очередь гулко зарокотала под низкими сводами.

Пулеметчики вразвал повалились на бетонированный пол.

Ганс в страхе вытаращил глаза, раскрыл рот, чтобы закричать, но крик застрял в горле, а руки сами поднялись вверх.

– Вот и все. А Кирилл Яковлевич сомневался, – сказал Ермаков, поворачиваясь к Гансу. – Ну, чего глаза вытаращил? Охота, поди, жить-то?

Ганс икнул, продолжая стоять на корточках у печки с поднятыми руками.

– Ладно, хрен с тобой, живи пока, – Ермаков положил на стол автомат и скинул шинель.

Потрясенный Ганс увидел, что перед ним самый настоящий советский офицер. Он снова икнул и, не удержавшись на полусогнутых ногах, привалился к стене.

– Что, фриц, коленки задрожали?

– Их бин Ганс. Ганс...

– Фриц, Ганс... Какая разница?! А ну поднимайся! Все вы – фашисты.

– Найн, найн, – испуганно залепетал немец. – Ихь нихт фашистен. Ихь бин арбайтен¹.

Ермаков поднял за ворот шинели Ганса на ноги. Не успел немец сообразить, чего от него хотят, как с него была сдернута шинель, выдернут из пояса брючный ремень и скручены за спиной руки.

– Ну, раз ты просто Ганс и не фашист, то садись вот здесь и не митингуй.

Ермаков бросил в угол пустой ящик и усадил на него Ганса.

– Как не крути, а все ж помог мне. Потому грешно тебя в расход пускать. Ферштейн?

– Нихт ферштейн.

– Дам по башке прикладом, так сразу заферштейнешь. Сиди пока, а я займусь вашим хозяйством.

Он открыл настежь тяжелую стальную дверь и перетаскал в трубу мертвых пулеметчиков, потом внимательно осмотрел дверь, постучал по ней, довольно хмыкнул.

– Нда-а... Гранатой ее не возьмешь, а пушку по трубе не протацишь. Выдержим осаду, а, Ганс? – он закрыл дверь, проверил запоры.

– Все, Ганс. Отступать теперь некуда. Будем воевать.

Он подошел к каждой из трех амбразур и внимательно осмотрел пулеметы. Потом стащил к одному из них побольше заряженных лент, под ноги кинул металлический ящик, чтобы удобнее стоять у амбразуры, которая выходила на немецкую линию траншей.

Ганс, как замороженный кролик, наблюдал за приготовлениями русского офицера. Почти за год войны в Сталинграде он ни разу не видел русских. Даже пленных. Слышал о них разное: и правду, и небылицы. Слышал еще до войны. Потом удивлялся вестям с Восточного фронта, когда служил в Париже. Удивлялся стойкости сталинградцев в их ужасной зиме. И вот теперь лицом к лицу встретился с живым человеком, которому не страшен ни мороз, ни черт, ни сама война. Гансу трудно понять: или этот русский сумасшедший, или настоящий солдат. Вот-вот займется рассвет, и предстоит очередная драка, как она начиналась каждое утро вот уже который месяц кряду. Будут атаки и контратаки. А они здесь, в бункере, посередине ничейной полосы, и еще не известно, кто первым к ним будет проби-

¹ Нет, нет. Я не фашист. Я рабочий (нем.)

ваться. Назад хода нет, а вперед – только через амбразуры, но они слишком узки, через них отсюда не выберешься. На что он надеется? Во что верит? И откуда у него такая хозяйская уверенность? Может быть, к защитникам Сталинграда подошли свежие силы и сегодня они пойдут в наступление?

На кухне Ганс слышал, что русские пленных не расстреливают. И этот офицер не стал же просто так расстреливать безоружного Ганса. Хорошо бы дожить до конца войны, хоть и в плену, а потом вернуться домой и встретить выросшего без отца сына.

Ганс немного успокоился. Этот молодой командир не такой уж и страшный. Ходит по доту спокойно, не суетится, да еще чему-то улыбается. И глаза не звериные, как часто расписывали Гансу однополчане. Нормальный человек и даже красиво сложен, а походка пружинистая, как у спортсменов или артистов. По всему видать, не злой человек. А то, что он, не моргнув глазом, убил пулеметчиков, так ведь война. И он на своей земле. Еще не известно, как бы вел себя Ганс на Эльбе, если бы туда пришли захватчики. Тоже, наверное, стрелял бы...

В шесть часов началась артиллерийская дуэль, и первыми пошли в атаку немцы.

Ермаков припал к пулемету.

В сером утреннем тумане замаячили на белом снегу неровные цепи наступающих.

– Ганс! Ком хир! Стой вот здесь, кашевар, подле меня и смотри, а то еще забунтуешь в тылу.

Нетке повиновался жесту и стал рядом с русским командиром возле пулемета. В четком прямоугольнике амбразуры он сразу увидел своих и отшатнулся.

– Црюк!² – коротко бросил лейтенант.

Ганс вздрогнул, заметив, как на скулах лейтенанта дернулись желваки. Э, с ним шутки плохи, совсем перепугался Ганс. Он действительно глазом не моргнет, пристрелит. Как тех пятерых пулеметчиков.

До наступающих осталось не больше тридцати метров. Уже видны чуть белесые от инея короткие автоматы, белые маски лиц, и даже слышно тяжелое с хрипом дыхание.

И тут, совсем рядом и неожиданно для немцев, хлестко ударила огненная трасса тяжелого станкового пулемета.

Сколько раз за полтора года войны Федор наблюдал одну и ту же непонятную для него картину: почти всегда при встречном огне немцы или прятались за укрытия или убегали, подставляя спины. Даже убитые падали, откидываясь назад. И сейчас гитлеровцы остановились, потоптались на месте и побежали обратно. Но до траншей многие так и не добрались. На снегу остались десятки трупов.

Пулемет умолк.

– Ну как? – спросил Ермаков, поворачиваясь к своему пленному. – Нормальный арбайтен, а?

Ганс был поражен шальным блеском отчаянных глаз лейтенанта. Он сделал глотательное движение, пересохшими и побелевшими губами тихо прошептал:

– Арбайтен ист гут...³

Действительно, такой работы ему еще не приходилось видеть. Он видел убитых, видел смертельно раненных, видел просто замерзших, но как здоровые, живые солдаты прямо у тебя на глазах мгновенно превращаются в трупы видел только дважды. И оба раза за одно сегодняшнее утро. Да, это не кухонные разговоры...

Запищал зуммер. Ермаков снял трубку полевого телефона и услышал лающий немецкий голос. Оборвал его насмешливо:

² Назад! (нем.)

³ Хорошая работа... (нем.)

– Хватит гавкать. Говори по-человечески.

В трубке сразу стихло, потом донесся удивленный и ломаный вопрос по-русски:

– Кто ви есть, откуда?

– Лейтенант Ермаков. Из Сибири. Еще вопросы будут?

– Как ви забрайт наш пулемет?

– Военная тайна.

– Можете сдавайся плен.

– А комбинацию из трех пальцев не хочешь?

В телефонной трубке щелкнуло. Через несколько минут завывли мины, и дот загудел от близких разрывов.

– Айн, цвай, драй... нойн, ценн... – считал Ганс разрывы, испуганно глядя в потолок. Но мины рвались наверху, не причиняя никакого вреда.

После минометной обработки пошла пехота. Только теперь уже не прямо под огонь пулемета, а обходя дот слева и справа.

Лейтенант ждал немцев.

Вот цепь наступающих дошла до половины ничейной полосы, и теперь можно по ним бить с фланга. Но Ермаков подождал еще и, когда из наших окопов заговорили пулеметы, тоже открыл огонь.

Выпустив две длинные очереди, перебежал ко второму пулемету, но не успел нажать на гашетку, как у самой амбразуры разорвалась граната.

Землей брызнуло по глазам, а по левой руке словно оглоблей долбанули.

– Сто чертей вам в глотку... – Ермаков стиснул зубы, заставил себя открыть огонь из этого пулемета. Подошедшие почти вплотную фашисты были скошены длинной очередью.

Ганс видел, что русский лейтенант серьезно ранен. Его левое плечо все потемнело от крови. И Ганс Нетке, всю войну думающий о супе да о жарком из свинины, поймал себя на том, что сейчас он думает совсем о другом. Думает о ходе боя. Не удержать раненому офицеру круговой обороны в одиночку. Окружат дот и... Что же будет? Русского убьют или возьмут в плен. А Ганса? Нет, Ганс не хочет обратно к своим. Не хочет больше войны. С него хватит. Лучше плен у русских, чем смерть у своих. А они уже вот, совсем близко. Что же там замешкался лейтенант, через минуту окружат дот и...

– Ахтунг, ахтунг! – испуганно крикнул от первого пулемета Ганс.

Ермаков метнулся к нему, выпустил несколько очередей, сменил ленту в пулемете. И, быстро развязав Гансу руки, подтолкнул его к амбразуре.

– Стреляй, Ганс! Стреляй, сукин сын, если жить охота...

Кажется, его заставляют стрелять? Нет, нет, только не это. Он не может. Да он просто не умеет стрелять из пулемета.

А Ермаков снова вел огонь от второй амбразуры и кричал оттуда Гансу:

– Стреляй, гад! Стреляй, говорю тебе в последний раз!

Ганс крутил головой, следя за раненым офицером, который метался от одного пулемета к другому. Повара начала бить дрожь.

Ермаков быстро вставил в магазин пулемета новую ленту, схватил со стола здоровой рукой автомат и замахнулся им на Ганса.

– Стреляй, фашистский ублюдок, или я раскрою твою пустую башку...

Да пусть простит его Всевышний, Ганс подойдет к пулемету. Первый раз за пять лет войны попробует стрелять. И не по врагам, а по своим.

Ганс закрыл глаза и послал очередь, потом еще одну. А когда открыл глаза, то увидел, что перед амбразурой падали на снег солдаты, срубленные его пулеметными очередями.

Увидел это и лейтенант Ермаков. Он кинулся к своему пулемету. И ожил пулемет. А левая рука уже плохо слушалась, рукав набряк от крови.

Не выдержав встречного огня из окопов и флангового из своего дота, немцы стали медленно отходить сначала одиночками, потом группами.

Сразу же заговорили наши минометы и полковая артиллерия, обрабатывая передние траншеи немцев. Значит, минут через десять батальон Сыромятина пойдет в атаку.

— Ну вот и ладно... — перевел дыхание лейтенант, опускаясь на табурет у стола. — Теперь Кириллу Яковлевичу полегче будет работенку справлять...

Весь бой длился минут пятнадцать — двадцать. А может, и того меньше. Но для Ганса Нетке он показался целой вечностью. Ганс все еще держал руки на гашетке пулемета и не верил в случившееся. До сознания медленно доходил смысл происходящего. Оказывается, война — это не просто когда стреляют и убивают, а когда НАДО стрелять и убивать. Русский офицер у себя дома, и ему очень надо стрелять и убивать, чтобы Гансы и Фрицы оставили его землю в покое, убралась в свой фатерланд. А не уберутся, значит, останутся лежать на этом колючем снегу, как лежат уже многие.

— Ганс, ты живой? Ком хир! — позвал лейтенант.

Ганс осторожно разжал побелевшие пальцы и повернулся на голос. Удивительно, лейтенант снова был спокоен и совсем не страшный. Он хитровато поглядывал на Ганса, и его пересохшие губы чуть заметно кривились в улыбке. Только в глазах все еще не остыл шальной ветер. И Гансу захотелось сказать хорошее слово этому храброму офицеру.

— Зоветски зольдат — гут зольдат.

— Чего ты лопочешь?

— Гитлер хат швер гефальт⁴.

— Без тебя знаю, что гад ваш Гитлер, — сказал Ермаков, стягивая через голову гимнастерку и заворачивая рукав окровавленной рубашки. Рана была выше локтя и сильно кровоточила.

— А ну, кашевар, подсоби мне еще маленько.

Ганс засуетился. Вообще-то он никогда раньше не был суетливым человеком, и когда работал до войны стрелочником, и последние пять лет на полковой кухне. Все он делал основательно, не торопясь. А вот сталинградская зима его доконала, да и встреча с русским офицером чего-то да значила. Ганс достал из аккуратно вмонтированного в стену шкафчика индивидуальные пакеты и старательно перебинтовал руку лейтенанта. Потом открыл термос и налил в крышку еще теплого суррогатного кофе.

Ермаков глотнул неприятный напиток и сплюнул на пол.

— Тьфу, гадость! И как вы ее трескаете?

Однако пить страшно хотелось и он с отвращением допил эту вонючую бурду. Жестами приказал Гансу, чтобы и он подкрепился, а сам обошел все три амбразуры. У той, что выходила на правобережье Волги, задержался.

По всему скверу, изрытому минами и снарядами, не ожидая конца артобстрела, поползая от воронки к воронке и маскируясь заснежными холмиками, к доту приближались свои. Вот-вот закончится артподготовка, и батальон поднимется в атаку. Раньше на пути у бойцов Сыромятина стояла эта бетонная черепаха, сегодня Ермаков заткнул ее изрыгающую свинец глотку. Путь к мастерским открыт...

В это самое время один из недобитых гитлеровцев подполз к доту и швырнул в амбразуру одну за другой две гранаты. Первая упала на стол перед Гансом. Он машинально ухватился за длинную ручку, но, поняв в страхе, что это граната, выкинул ее обратно в амбразуру.

Снаружи тут же раздался несильный хлопок и человеческий вскрик, лопнувший как струна на полуслове.

⁴ Гитлер сделал большую ошибку (нем.)

И сразу же разорвалась вторая граната, но уже в доте, у ног лейтенанта. Он не услышал взрыва, только боль в левой руке уменьшилась, перед глазами поплыли, закружились цветные фонтаны, а ноги мгновенно стали чужими, как будто и не было их вовсе. Ермаков вскинул руки, чтобы удержаться, чтобы устоять, и не смог. Теряя собственный вес, он медленно осел на пол.

Эшелон, составленный из теплушек и телячьих вагонов, тащился горами Урала, долго простаивал на полустанках, пропуская стремительные встречные поезда.

Но вот наконец миновали символический столб с надписью «ЕВРОПА – АЗИЯ».

В одном из телячьих вагонов ехали пленные немцы, в основном те, которые были окружены зимой на берегах Волги под Сталинградом.

Ганс Нетке и его сосед по вагону Фриц Топельберг вместе проводили взглядом пограничный полосатый столб, как бы разделяющий континенты.

– Азия, – удивленно сказал Ганс Нетке.

Фриц Топельберг зябко передернул плечами, посмотрел вперед, уронил обреченно и зло:

– Сибирь...

Глава 7

Возвращение Федора Ермакова

После госпиталя Федору Ермакову вручили медаль «За боевые заслуги», признали годным к нестроевой и назначили дальнейшее прохождение службы в райвоенкомате, с которого он призывался на фронт.

С детства уже судьба то радовала Федю Ермакова, то обижала сразу за семерых. Отца он так и не знал. Мать бросила его на двоюродную тетку, а сама укатила с кем-то на восток. Тетка оказалась доброй и щедрой на ласку. Она помогла Феде закончить школу, заставила поступить в техникум. А потом вдруг померла, оставив племяннику в наследство добрую память о себе, корову с телком, десяток кур и рубленный из сосен домишко. Федор отдал корову и телка в колхоз, куры пошли на помин души, а в доме стал жить. Чтобы самому кормиться, перевелся на заочное отделение и устроился в колхозе пасти лошадей.

Парень он был неприметный, на гулянках появлялся редко, все больше пропадал в поле возле лошадей. Ему как раз исполнилось восемнадцать, когда началась война. Уходя на фронт, он заколотил досками окна дома, дверь не стал запирасть на замок, а накинул петельку и заткнул прутиком. Потом заглянул в колхозную конюшню, задал последний раз по мере овса лошадям-работягам и с легким сердцем пошел воевать вместе со всеми нечаевскими мужиками.

Привычный ко всяким заботам, он легко сменил пиджак на гимнастерку, а приятную сердцу крестьянскую работу – на армейскую службу. После краткосрочных курсов его назначили командиром взвода полковой разведки. Ранения поначалу случались легкие. Приводимые со стороны «языки» оказывались очень даже ценными для командования, и на груди лейтенанта прибывало орденов да медалей.

Но из последнего боя на ничейной полосе принесли разведчики своего командира с перебитыми ногами. А потом, после медицинской комиссии, когда неумолимые врачи поставили точку в его биографии разведчика и признали годным только к нестроевой службе, судьба снова улыбнулась ему. По прибытии в райвоенкомат его сразу назначили комендантом лагеря военнопленных, а это всего-навсего километрах в семи от его родной Нечаевки.

Так вот и вышло, что из восьмидесяти пяти нечаевских мужиков Федор Ермаков вернулся вторым после Парфена Тунгусова.

Сначала комендант съездил в пионерский лагерь «Березка», где было предписано разместить лагерь военнопленных, а уж потом заехал в Нечаевку.

Под вечер остановил Ермаков старенькую полуторку (за рулем сидел сам) в знакомом проулке. Ничего за эти годы здесь не изменилось. Двери домика все так же закрыты петелькой с почерневшим прутиком, двор завален не растаявшим еще снегом, плетеный тын повалился от времени.

Постоял Федор с минуту и зашагал на подворье почтальонки Анисьи Княzewой, чтоб передать ей поклон и наилучшие пожелания от законного ее супруга.

Увидев на пороге бравого, в перетянутой ремнями шинели и с пистолетом на боку офицера, Анисья охнула, не признав в нем бывшего нечаевского конюха.

– От Виктора? – Анисья скомкала в руках фартук и опустилась на лавку. – Что с ним?

– Да не пужайся ты эдак, – Ермаков улыбнулся и, шагнув к Анисье, взял под козырек. – Гвардии рядовой Виктор Княzew шлет вам, уважаемая Анисья Павловна, низкий поклон, письмо для личного вручения и подарок – два куска мыла и кило сахару.

Он скинул с плеча вещмешок, поставил его на стол и начал развязывать.

– А вы, стало быть, сослуживец его?

– Да ты что, Анисья, своих не признаешь? Я ж у вас на свадьбе дружком значился.

Анисья снова охнула и несмело заулыбалась, потом разглядела в неровном свете кухонного окна лицо гостя, радостно всплеснула руками.

– Федя? Федор Кузьмич? Прости меня, дуру. С испугу это я сразу-то не признала. Думала, с Витей беда случилась. Как он там? Похудел, поди? На фотокарточке уж худой больно, одни усищи торчат да уши. Ушастый он у меня.

– Здоров твой гвардеец. А служба, так она у всех одинакова. Там хилых нет. Солдат есть солдат. Это тебе от Виктора, – он выложил на стол сахар, мыло. Потом несколько банок тушенки и бутылку водки. – А это лично от меня.

– Господи! Богатство-то какое! А как же ты сам, Федор Кузьмич?

– За меня не тревожься. Я на довольствии, так как по-прежнему состою на службе. Теперь вот назначен комендантом лагеря. Слышала про военнопленных-то?

– Да уж слышала... будь они неладные. А тебя-то за што на такую работку определили? Или воевать разучился?

– Начальству виднее. Да и врачи... Признали годным только к нестроевой...

– Ну вот и ладно, что хоть живым возвратился, руки-ноги при тебе, и голова на месте... – Она обеими руками держала письмо от мужа и еле сдерживала себя, чтобы тут же не прочесть его. Но и стеснялась, хотела одна, без постороннего, читать и перечитывать каждую строчечку, каждое словечко, и чтобы никто ей не мешал. – Так я сбегая, може, бабешек позову? Или Парфена Тунгусова? Отметить твой приезд бы надо.

– Не могу, Анисья, пировать. К утру на станции должен быть.

– Да как же это так? – засуетилась она по кухне. – Негоже, Федор Кузьмич, обижать солдатку. К столу садись, про Витеньку расскажи. Бутылочку-то открой, а я сейчас огурчиков да капустки достану.

Она метнулась в подпол, потом в сени, собирая на стол все, чем можно угостить дорогого гостя на скорую руку.

– Эх ты замельтешилась, – улыбнулся Ермаков, залюбовавшись ладно скроенной, проворной фигурой Анисьи. Он завязал вещмешок, глянул на часы, что-то прикинул в уме и решительно снял фуражку. – Ладно, десять минут в дороге наверстаем.

– Шинель-то сними, Федор Кузьмич. Ну что ты, ей-богу, как чужой совсем.

Ермаков хмыкнул, притронулся пальцем к пышным гвардейским усам (наверное, из-за них Анисья его сразу и не признала), быстро расстегнул ремни и скинул шинель.

– Мать честная! Федор Кузьмич! Да ты прям генерал. Это за что же тебе столько орденов повесили?

– За службу, Анисья, за службу. А у твоего Виктора поболее моего будет. К тому же он полный кавалер ордена Славы. По нашим воинским понятиям, первый что ни есть солдатский герой.

– Ох, бедовая головушка... – и радостно, и тревожно воскликнула Анисья. – Так, поди, в самое пекло и лезет?

– Разведчик он. Работа у разведчиков тонкая, деликатная...

– А сестру мою видели там? Или поврозь служили?

– Под Москвой вместе стояли. Да и потом приходилось встречать. Медсанбатом сейчас командует твоя Ольга.

– А тут тихоня была. Чирики врачевала. Шибко-то хворых не водилось в деревне. Это сейчас беда прямо...

Федор налил в стаканы водку, серьезно и строго задумался:

– Как тут вы-то, Анисья, без мужиков управляетесь?

– Живем, Федор Кузьмич. Как заведенные. Я и в колхозе роблю, и на почте по-прежнему служу. Наказал меня Бог за веселый-то характер. Встречают бабы, а у самих страх в

глазах: не то радость из сумки достану, не то горе горячее... – Она вздохнула, осторожно глянула в глаза Ермакову. – Изменился ты, Федор Кузьмич. Серьезный стал, непривычный какой-то. Чужой. А до войны-то такой был мальчишечка нескладный да влюбчивый.

– Откуда ты знаешь... – смутился Ермаков.

– Знаю.

Губы ее дрогнули в улыбке, наверное, она вспомнила, как тогда, в девчонках еще, дурачась и гордясь пробуждающейся девичьей неотразимостью, поцеловала Федю на вечорке, и как он потом все лето прятался от нее, но она-то видела, что любя ему стала, да и не ему одному – многие парни таяли и теряли привычные слова в присутствии Аниски, пока самый отчаянный не вскружил ей голову навсегда.

– Ты скажи, как сейчас вы? – повторил свой вопрос Федор.

– Первую зиму... и не расскажешь, растерялись мы как-то. Все сразу для армии сдали по осени: и хлеб, и фураж, и лошадей. Выбракované остались лошади-то. Потом еще подписка по дворам. Мы и рады стараться. Понятное дело, последнее готовы были отдать, лишь бы вам там посытнее да сподручнее войну воевать. Кто ж знал, что она так затянется. А в эту зиму совсем худо пришлось. Бабы на трудодни, считай, ничего осенью не получили. Что в огородах выросло, тем и тянули.

– Но как вы без мужиков-то?

– Да не хуже вас справляемся. А куда денешься? В сельпо конюхом – Бачиха. При Совете и на пожарке конюшит Кости Анисимова жинка. Советской властью управляет Таня Солдаткина. На фермах, в поле – одни бабы. У нас только одна и не работает, Лиза-Лизавета, Корнея Гусиновского дочка. Теперь до нее не достать. Жинка директора школы Лапухина.

– Это который Лапухин?

– Да пришлый. Из бухгалтеров. Его к нам фининспектором прислали. Ох и поизгалялся над деревенскими. Зато выслужился. Заметили. Бронь дали. Ну, он и приухлестнул за Таней Солдаткиной, жениться обещал, умасливал. Она сдуру двинула его на директора школы. А он ей фиг с маслом. Лизку взял Корнееву. Тимоня ему сосватал. Богато живут – каждый день хлебушко на столе. Ты ведь ухаживал за Лизаветой-то?

– Провожал одно лето. Так, говоришь, Парфен вернулся? Как он?

– Добрый мужик оказался. Видно, в отца пошел. Если кто уж совсем зубы на полку – помогает, хоть крохами колхозными, но поддерживает, не дает ноги протянуть. Раз тут будешь, свидишься. А вот с половиной мужиков наших уже ни ты, ни я и никто не свидится... Через эти руки все горькие весточки проходят. Похорожки мне уже ночами снятся, на почту утром боюсь идти, как бы в одночасье не свихнуться... Да мы-то как-нибудь, лишь бы там скорее уж...

– Скоро не получится, Анисья Павловна, зря врать не стану. Ведь только-только начали его заворачивать.

– Вот так попотчевала я тебя, Федор Кузьмич, совсем заговорила. Выпей да закуси на дорожку-то.

– Давай вместе выпьем. Я очень рад, что снова свиделись с тобою.

– За встречу можно. Или другой тост у тебя, Федор Кузьмич, с фронта припасен?

– У всех, Анисья Павловна, сейчас один тост. За Победу!

Тяжелые «студебеккеры» остановились на опушке березовой рощи. Пленных выстроили здесь же, возле машин.

Комендант лагеря, гвардии лейтенант Ермаков, прошелся перед строем понурых, уставших за дорогу немцев и только было собрался произнести короткую речь, как вспомнил, что переводчика еще нет и пришлют его через день-два, а то и позже.

– Н-да... – лейтенант расстегнул ворот шинели, в замешательстве пригладил усы. – Ну! Как же мы с вами общаться будем, а? Вам надо животы набить, а мне с вас получить работу, сто ежей вам в селезенку. Кто мало-мало шпрехен зи... по-русски?

Пленные молчали.

– Нет таких?

Высокий худой немец сделал шаг вперед. Ермаков подошел к пленному. Тот испуганно и осторожно улыбнулся.

– Фамилия?

– Нетке.

– Нетке? Подожди... Очень уж знакомая у тебя физиономия, паршивец. Так, говоришь, Нетке?

– Я, я. Ганс Нетке.

– Ганс?! Живой?! – Ермаков как на родственника смотрел на этого долговязого кашевара и с трудом удерживал себя, чтобы не обнять немца. – Считаю, что тебе повезло, Ганс Нетке. Легко отделался от своих генералов. Хоть честно будешь свой хлеб зарабатывать. Кто не работает, тот не ест. У нас так. Понял?

– Мало-мало понимайт.

– Очень хорошо, Ганс. Назначаю тебя временно переводчиком. Будешь говорить с этой бандой.

Ермаков оглядел строй понурых немцев, кашлянул в кулак и заговорил четко, словно зачитывал боевой приказ:

– Сегодня до вечера привести в порядок жилые помещения, сделать нары и набить соломой тюфяки, заготовить дров и натопить печи. Это первое.

Второе: истопить баню, всем помыться и сменить свое вшивое белье.

Третье: с завтрашнего дня на станцию Юрга должны уйти первые машины с лесом, или душа из вас вон! Все!

Ганс вслушивался в жесткие фразы начальника лагеря и почти ничего не понимал, разве что отдельные слова: порядок, вечер, баня, работа.

– Все понятно? Ну... аллее ферштейн? – переспросил Ермаков. Ганс смущенно потоптался и, чтобы не сердить начальство, быстро закивал головой. – Ну, так растолкуй своим в популярной форме.

Пленный вышел вперед и стал рядом с комендантом. Громким от волнения голосом он перевел на свой лад:

– Господин комендант говорит, что мы будем жить в этих красивых домиках. Здесь до войны отдыхали русские дети, называемые пионерами. Господин комендант любит порядок. Сегодня нам обещают баню, а завтра начнем работать – пилить лес и возить его на станцию. Кто не будет работать, тот не получит еды. По таким законам живут русские. По таким законам теперь будем жить и мы.

Ганс повернулся к Ермакову и глазами спросил, доволен ли господин комендант вновь испеченным переводчиком.

– Гут, – на всякий случай одобрительно сказал лейтенант. – Будем работать, Ганс. Так надо моему Отечеству. Да и вам надо мозги вправить, а то они у вас набекрень.

Еще задолго до русского плена Ганс Нетке представлял лагерь военнопленных ужасным и гиблым местом, где пленных сначала зверски пытаются, морят голодом и уж потом неторопливо расстерливают. Офицеры твердили, что в русских казематах пленных жгут на кострах или варварским способом сажают на кол. Особенно пугали Сибирью, где люди, мол, ходят в шкурах, а вместо театров – зверинцы. И все военнопленные как раз предназначены для кормежки этих диких зверей.

Но беспроводной солдатский телеграф сообщал и другое – что русские пленных вообще не расстреливают. Ганс Нетке очень хотел в это верить. Да и место их назначения, куда они только что прибыли, располагало к доверию.

С одной стороны поляны меж деревьев поблескивали холодные воды озера с припаем почерневшего льда. С другой – тянулся березовый лес. Ничего устрашающего. Только смущала невероятность уж слишком мирной тишины да необычность будущего жилья. Вместо ожидаемых мрачных сибирских казематов – веселая карусель из цветных домиков. А вместо забора с колючей проволокой – метровый штакетничек, через который без труда и ребенок перелезет. И почти никакой охраны. Да и куда побежишь отсюда? Через всю Азию и Европу надо пройти, чтобы попасть в родной городок на берегу Эльбы.

Ганс воевал уже больше пяти лет, был во многих странах Европы и ни разу не задумывался, хорошо это или плохо. Думали за него другие. Это было очень удобно. А попав в русский плен, Ганс словно заново родился. Он все чаще стал задавать себе вопросы. Больше других вопросов мучило его: кто же они такие, эти таинственные русские, которых столетиями пытались поработить? А ведь пытались многие. Но чтобы понять русских, убедился вскоре – надо среди них пожить. Это ничего, что в плену, что работа на пределе человеческих сил, что соотечественники косо поглядывают на слишком старательных. Господин комендант сказал: так надо. Хорошее слово «надо».

И началась жизнь по этому непреклонному слову – «надо». Надо было привыкать к тяжелому физическому труду. Надо было довольствоваться скромным питанием: щи да каша – пища наша, как говорили в столовой русские шоферы. Надо было ждать победы, но не той, о которой трезвонили нацистские генералы, а победы русских. Надо было искупить свой великий грех перед русскими, чтобы после войны попасть на свою родину.

Глава 8

Призраки большого кургана

Утро не обещало ни плохой погоды, ни встречи на узкой дорожке с браконьером, ни другой напасти в намеченном обходе соснового бора за хутором Кудряшевским. Накануне Федор Ермаков ездил на своей полуторке по делам в Юргу и привез Мишке Разгону заодно, как они и договаривались, новенькую темно-синюю форму лесничего. До позднего вечера Аленка и Катерина гладили, перешивали пуговицы (форму все же выдали «на вырост»). Удивились, что вместо обычных брюк выдали галифе, – видимо, позаимствовали из милицейской формы. Но это даже позабавило и обрадовало Мишку. Настоящие галифе, с глубочайшими карманами, к тому же теплые и крепкие, были пределом мечтаний любого мальчишки, а главное – это уже форма, почти военная.

Встал Мишка до солнца вместе с матерью. Собираясь на ферму, она все придерживала себя, наблюдала, как сын первый раз в жизни облачается в такую красивую и серьезную форму. Когда Мишка чуть сдвинул набок фуражку и крутнулся перед матерью, она сказала:

– Галстука не хватает, сынок.

– Какого галстука?

– Пионерского.

– Мам... я ведь...

– И не комсомолец еще. А из пионеров тебя никто не исключал. Повязывай галстук.

Конечно, мать схитрила маленько, не все сказала Мишке: уж больно он смешно гляделся во взрослом одеянии. А вот пионерский галстук сразу притушил излишнюю взрослость, но все же не убавил серьезности ни формы, ни самого Мишки.

– Вот и ладно, сынок.

Как хотелось Мишке пройти сегодня по Нечаевке из конца в конец, чтобы все увидели молодого лесника, преображенного удивительной и единственной во всей округе формой, но он только ревниво проводил взглядом мать – она-то сейчас пойдет на ферму по деревенской улице, сам же спустился проулком к озеру Полдневому и обходной прибрежной тропой направился к хутору Кудряшовскому, за которым уже просыпался и ждал лесника коммунарский бор.

Мишка решил сегодня не брать с собою ни рюкзака, ни ружья, ведь хвойный бор на старом кургане всего в километре от Нечаевки, да и задачу он поставил себе простую – еще раз увидеть, постараться понять и запомнить, как эти молодые сосны, ели и особенно кедры посажены, почему именно на этом месте, и каким чутьем надо было обладать тем, первым коммунарам, чтобы на лысом и чахлом угоре, что спадает с большого кургана, прижились все до единого деревца и за двадцать лет стали взрослыми деревьями. А юные по годам кедры уже лет пять дают урожай. Здесь, на берегу озера Полдневого, в дни цветения кедров можно даже свадьбы играть, так как нет краше и божественнее гордой красоты этих деревьев. Не зря ведь говорят: в осиннике трудиться, в березняке веселиться, а в кедраче богу молиться.

По какому-то злему умыслу или по недоразумению на территории приозерного лесничества последние двадцать лет леса только вырубались, а посадки не велись совсем, если не считать тех естественных дичков берез или осинки на старых вырубках вперемежку с кустами акации, шиповника, боярышника и мелкого, выродившегося, похожего на никчемный корявый дуrolом дубняка. Все это дикошаро и бестолково разрасталось непролазной чащобой: в низинках напористо лезли из земли высоченная осока, молочай толщиной с руку да неизвестно откуда взявшийся камыш. И заболачивалась вырубка, на взгорьях по безво-

дью все чахло, до желтой трухи истлевали разнокалиберные пни, а еще хозяйничал здесь по запущенной до беспредела земле коневник, вымахивающий к середине лета в человеческий рост. Ближе к осени метелки этого исполинского конского щавеля бурели до черноты, с каждой из них можно было нашелушить по две-три пригоршни крепких зерен, схожих с забытой уже гречихой, только помельче и по вкусу очень далеких от хлебных злаков. Однако минувшей зимой ели и эту обманную гречиху, вспомнив, что старики в иные трудные годы заготавливали для кур коневник вместо зерна.

Не в лучшее для жизни время – в дни повальной братоубийственной смуты – первые коммунары заселили маленькими деревцами и свой непригодный под пашню песчаный угор за озером. Удивлялся Мишка, почему они тогда так много успели за одну осень – распахали, нарушив межу, общую пашню, посеяли озимую рожь, построили из трех конфискованных у купца Замиралова домов школу с интернатом да еще будущий хвойный остров заложили. Дед Сыромятин тоже удивлялся, но только Мишкиному непониманию – для него иначе и быть не могло.

Еще с петровских времен под казенные леса в озерном краю отводились дальние урманы богатых и девственных лесов, а вокруг деревень лет за сто пятьдесят до революции вся земля с болотами и малыми озерами, с сенокосными луговинами и пашнями, пастбищем и конечно же лесами – все было честно поделено подворно. Каждая семья получала свой кусок земли со всем, что могла она дать своим хозяевам. В центре владений так подгадывали, чтоб на опушке леса возле родничка или на берегу озера поставить заимку с навесом и даже с овином, а то и с банькой, но это уж у большой и зажиточной семьи, в основном же обходились легкой рубленой избушкой в одно оконце, с нарами и каменкой. Нередко заимки многодетных крепких хозяев обособлялись, превращались в хутора, а то и в деревеньки. Со временем многие забывали свои изначальные корни, как забыли Нечаевку рожденные от нее жить в новом пространстве Гусиновка, Золотово, Кудряшовка, Гомзино, Гренадеры. Дольше всех продержалась и до сих пор значится одна-единственная заимка – деда Сыромятина. И хотя близлежащий лес, болото и покосные луговины давно стали государственными, а пашни – колхозными, Яков Макарович по-прежнему, в силу крестьянской привычки, следил за порядком в лесу, убирал занесенные ветром сушины и дикие кусты с покосов, как детей малых оберегал родники и затенял места их рождения ивами иль березами. Но самым главным для Мишки Разгонова оставался секрет омоложения леса. В кварталах, разделенных просеками, он еще до войны допытывался у Якова Макаровича, почему многие куртины просматриваются из конца в конец, березы растут как бы классами – каждый островок, а то и целый квартал имеет свой возраст: вот ряды старых, обособленных друг от друга берез; здесь островок – березка к березке в тесноте тянутся вверх небольшенькими кронами; там в шахматном порядке и не мешая друг другу, но и не шибко вольготно вскинулись ровные, мощные стволы, Меньше было порядка на беглый взгляд в смешанных кварталах, где даже прелые валежины и сухостой не убирались.

Яков Макарович останавливался возле густого гладкоствольного березняка и сам спрашивал:

- На что годны сейчас эти хлысты?
- На жерди для изгородей и пригонов, – отвечал Мишка.
- Так оно. А как рубить эти жерди?
- Под корень.

– Само собой. Токо не все подряд, а каждую седьмую там или восьмую оставить надобно. Ишь как они вымахали в тесноте-то, теперича такой молодущке свободы маленько да времени лет десятков, и пожалуйста – хоть столб телеграфный, хоть на плахи распиливай, хоть в другое строение приспособлявай. Дальше что? Подросли и эти оставленные деревья. Теперь как рубить?

– Теперь все подряд. И новый лес сажать.

– А вот и нет. Подгон – это молодняк, не тронь до поры, а из взрослых оставляй до полной старости те, что поразлапистее, у которых ветви не к небу тянутся, а как у старых талин косами вниз. Эти березы не шибко для хозяйства пригодны, зато в лесу сами хозяйки: они и влагу вокруг себя не растратят, и птицу придержат, и семена по ветерку пустят, и много еще всякой пользы от них в лесу. Понял теперь? Лес ведь как и семья – в нем все в свое время должно быть. Вот мужики наши раньше-то к лесу по-родственному и относились, а коль случались пожары в лесу или другая напасть, тут уж ничего не оставалось как распахивать гарь под пашню или сажать новый лес. В редких случаях сажали, потому как дело это непростое – куда одному человеку, когда и большой семье не под силу. Да и растет дерево не меньше человеческой жизни. А коли с умом да с душой, то лес сам себя обновит и лишком с человеком поделится.

В бор Мишка и раньше заглядывал редко, а как стал в лесу хозяином, так и вовсе стал обходить хвойный остров стороной – знал, что здесь порядок, браконьерам в бору делать нечего, порубщики тоже не осмелятся, ведь на глазах у трех деревень, да и молодой еще сосняк, не пригоден для хозяйственных построек. И еще – какая-то непостижимая для всех тайна охраняла этот лесной квартал, даже самый расхулиганистый мальчишка или злой человек робели здесь и с оглядкой уходили в другие кварталы. А чудеса в этом месте хоть и редко, но случались, объяснять их, как и многие другие происшествия в лесу, никто не брался, лишь дед Сыромятин при случае кивнет Мишке Разгонову – то зверь или птица поведет себя странно, то дерево скрипнет или неурочный дымок над костром объявится – да скажет вдруг о человеке что-нибудь, а дальше сам думай, коль голова на плечах есть. Дойдешь своим разумом – на всю жизнь запомнишь, а коль непонятлив – в одно ухо влетает, из другого вылетает, тогда и проку никакого, нечего и балаболить попусту.

Конечно, многое из того непонятного, что происходило на острове, объяснялось простой случайностью: например, только возник как-то пожар – и тут же ливень хлестанул; осмелился какой-то недотепа елку срубить под Новый год – ногу топором себе же и распластал. Кузя Бакин до сих пор от вороньего крика приседает в суеверном страхе – зорил он гнезда в бору, ну, вороны его и атаквали, гнали до самой деревни, всю одежку на нем изодрали клювами да когтями. Многое, да не все тут можно было объяснить... Ну вот откуда слышатся иногда приглушенные хвоей голоса людей и животных? Что за призраки появляются меж деревьев в предгрозовые минуты? Почему справа от бора озеро Полднее всегда переполнено – чуть берега не заливает, а с левой стороны озеро Золотово хоть и ниже кажется, к концу лета постоянно пересыхает?

Мишка пересек вдоль и поперек весь хвойный квартал, заметил несколько новых тропок, то ли человеком пробитых, то ли скотиной с Кудряшовского хутора. Остановился на самой вершине кургана. Солнце уже входило в зенит, а в бору только начинало прогреваться, и легкий туман скатывался с вершины вниз, как холодная лава от кратера к подножию вулкана. Отсюда, с верхней части квартала, было видно, что туман плавится на выходе из бора, рождая миражные испарения, и все четыре озера казались ненастоящими, а придуманными и отраженными в искривленных блистающих зеркалах. Засмотрелся, размышлялся Мишка, и как бы сами собой блокнот с карандашом в руках очутились, только вместо чертежа и разметки квартала на страницах появились рисунки.

Вот краешек озера, крутой прибрежный взлет и опушка бора. Дымок костра. Сначала он то над берегом стелется тихоней, потом к соснам тянется уже веселее, поднимается и тут резко клонится назад, сворачивается и возвращается к озеру. Не потому ли так случается с весенним палом, когда горят сухие прошлогодние травы: огонь, подойдя вплотную к бору коммунаров, вдруг подобно высокой морской волне, налетевшей на утес, закручивается и, отступая, гаснет.

А на этом рисунке бор как бы с птичьего полета – весь квартал целиком виден, он как зеленый шатер на угоре в окружении четырех озер и трех деревень. Попробуй лихой человек задумать здесь пакость – непременно попадет кому-нибудь на глаза.

Еще рисунок: сосны плотной, молчаливой шеренгой, ровнехонько, крона к кроне, плечо к плечу, как витязи перед дальней дорогой или на скорбной тризне.

Мишка вспомнил себя, где он и чем должен заниматься. Он захлопнул блокнот, резко поднялся с бруствера небольшой канавки, пробитой талыми водами и дождями, глянул на два ряда сбегающих вниз деревьев и вздрогнул от приблизившегося вдруг видения: в туман, как в бесконечную неизвестность, уходили призраки великанов, похожие на воинов и на пахарей и еще на каких-то очень знакомых Мишке людей. Они шли тесным строем – плечо к плечу, шеренга за шеренгой – к озеру Полдневому. У Мишки дух захватило, он провел рукой по глазам, словно сгоняя с лица сон, но призраки не исчезли, они все так же торжественно и молчаливо уходили шеренгами и только там, внизу, на крутизне границы леса с озером таяли в восходящем миражном потоке.

Вспомнились Мишке Разгонову слова бабки Сыромятихи: «Собираются они там на тризну все до единого, чьи бранные косточки в кургане том покоятся. С ними и те, что коммунарами были. Отстоят положенный караул и до следующего срока покидают эту грешную землю, а в бору-то голоса их еще долго слышатся, потом набегут тучи грозовые, ливень омоет курган, а лить-то он будет ровно двенадцать часов кряду с полудни до полуночи, и с того поминального ливня установится ведро, благодать на земле, но для народу испытания выпадут, так как правые в силе своей становятся больше уверованы, а неверные пуще того озлобляются, стало быть, силушка силушку гнуть будет сызнова, и никому не дано знать, которые верх на сей раз одержат...»

Вспомнил все это Мишка и невольно заозирался по сторонам, начал с интересом прислушиваться, но ничего чудного не услышал, и призраки вместе с легким туманом совсем исчезли. Он озадачился, словно его обманули, ведь во всех сказках деда Якова или притчах Сыромятихи была и толика сущей правды. Призраки не испугали Мишку, он уже научился ничего не бояться, в лесу на каждое происшествие можно отгадку найти, человек до всякой хитрости природной может докопаться. И тут Мишке пришла в голову шальная, невероятная, но вместе с тем и простая истина – бор хранит память о добрых и мужественных людях, а память та хранит от всяких напастей бор. Память не убьешь, не вырубешь, не спалишь. Так и с бором коммунаров получается.

Время летело к полудню. Мишка вскинул голову, на солнце с двух сторон торопливо подворачивали облака. С одной стороны они были почти белые, похожие на гигантские горы взбитой пены, а с другой – густо подсиненные, рваные и будто в спешке растянутые. Сейчас облака сойдутся, смешаются, закроют солнце, рванет ветер по-над землю, и начнется гроза с молниями, громом и проливным дождем. При виде нарождающейся грозы у Мишки всегда начинало учащенно биться сердце, будто одним махом взбегал он на высокую гору и тут же начинал, не успев перевести дыхание, командовать войсками одновременно с двух сторон: ну, кто кого перешибет, ребята? Эй, там, на флангах, не отставать! Синие, подтянуться и равнение, равнение в строю! Белые, ну что ж вы всполошились, не бойсь, в атаку!

Когда подсиненные облака, опередив «противника», домчались до пределов зенита над Мишкиной головой и перекрыли своей тенью Полдневое озеро, наступила короткая томящая тишина, готовая вот-вот треснуть как лоскутное одеяло под ударами низового ветра. В этой зависшей на мгновение тишине Мишка явно слышал голоса. Привычные деревенские звуки и знакомые голоса. Но говорили как будто бы по телефону или на другом конце длинной трубы. Слышимость то пропадала, то вновь объявлялась. Мишка диковато заозирался, спустился пониже, потом влево подался, вправо, косясь на безмолвные ряды сосен и елей, отыскивал ногами невидимую тропу, словно переходил вброд незнакомую бурную

речку. На восточном склоне квартала в просвете деревьев показался хутор Кудряшовский, и звуки выплыли отчетливо, будто Мишка стоял сразу во всех семи подворьях Кудряшовки. Он прислонился спиной к реперу – потемневшему от времени разделительному столбу с пометками на срезах – и стал слушать.

Вот скрипнула калитка и залаяла собака.

– ...Цыц, Жулик! Проходи, Семен Митрофанович, сейчас... «Ого, – удивился Мишка, – к Антипову завхоз с Медвежинского курорта пожаловал. А ведь не дружки вроде...»

– ...Овечку-то напрасно...

– Да ладно, Семен Митрофанович, по такому случаю... Как тут без мясца. Вдругорядь и я к тебе с поклоном. Дом вон собираюсь перекрывать.

– Это завсегда... И железа найдем на крышу-то...

– ...Митька! Где ты, разбойник? Опять в конуру к собаке забрался? Вот я тебя...

Во всю моченьку заголосил Митька, трехлетний неслух солдатки Овчинниковой. Сама-то она работала на лесозаготовке коноводом, а тут бабка воет с Митькой и еще с двумя его старшими братьями, Сережкой и Алешкой.

А эти голоса с дальнего края хутора – у Антиповых праздник ли, чо ли?

– Откуда взяла?

– Овечку зарезали. Сам-то еще утресь у бабки Овчинниковой наливку закупил. Две четверти.

– Дак рано празднику быть. Поди, опять с Лапухиным гулеванить собираются, чтоб им подавиться, выродкам...

– ...Митька-а! Митька, поганец! Ты куда побег? Иди кашу трескай.

– Не хочу-у!

– ...Крепко ты, Антипов, живешь, крепко... С нуля ведь, кажись, начинал, а?

– Своими руками, Семен Митрофанович, все своими руками.

– На твоих мужиков-то можно надеяться?

– Люди надежные. Корней – лапухинский тесть, а Тимоня... Ну, Тимоню ты сам знашь.

– Тимоня, да... Встречались. Еще в восемнадцатом году...

– ...Бабы, лавка-то керосиновая робит седни в Нечаевке али опять на замке?

– Пойди да узнай. И нам заодно скажешь. А чья очередь-то седни за почтой бежать?

– Сережка Овчинников притащит.

– Алешка, а не Сережка.

– Да лешак их разберет, басурманов. Мать и то обоих лупцует, если кто нашкодил, чтоб наверняка не спутать.

Еще на одном подворье девчушка пела кукле колыбельную, мычал привязанный телок и горланил петух.

На берегу встретились братья Овчинниковы – Сережка и Алешка, они по очереди ходят в школу, через день. Сегодня один рыбачил, а другой учился.

– Эй, Серега! Ты сети проверил?

– Ну...

– Попало чего?

– У меня-то попало, а ты пошто сапоги мои без спросу взял?

– Так чо, босиком в школу-то? Утресь иней выпал.

– А ты бегом. Когда бежишь, не так знобко...

– ...На четырех подводах-то? Увезут. За две ездки увезут. И погода вон портится, дож-жичком все следы замочет...

– ...Митька! Лешак тебя...

– Опять каса? Селега зе лыбу плитассыл...

– ...Ох, бабоньки, мясом жареным запахло...

Потемнело над лесом, ожили вершины сосен, зашебуршали падающие прошлогодние шишки.

Мишка оттолкнулся от репера и, не зная еще, что будет делать через час на деляне и нужно ли сейчас идти туда одному, направился напрямик в сторону озера Чаешного, за которым находилась деляна, отведенная лесничеством сельсовету. В ней рубили дрова и для самого сельсовета, и для школы, и для сельпо, и всем служащим для обогрева своих домов. Там же по просьбе Татьяны Солдаткиной Мишка выделил и деловой лес на общественную баню. А что нужно увозить тайно да еще в две ездки на четырех подводах? Лес. Строевой лес. Лес тот пилить в деляне подражались у Солдаткиной двое – Антипов с лапухинским тестем, одноглазым Корнеем, а за работу просили по-божески: обрезные сучья да вершинки, мол, шибко вершинки нужны, стайку Антипов перебирать собрался. Мишка был при том разговоре, согласился даже с удовольствием – мужикам выгода, и ему деляну потом от обрезья не чистить. Да рано Мишка радовался, не тот человек Антипов, чтобы продешевить. Был лесник два дня назад в деляне, полюбовался их работенкой. Все мелкие сучья так и валяются у пеньков, а вот вершинки оговоренные чуть не целыми лесинами оказались. Хоть и вывезены уже, да по комлям определить ничего не стоит. Но, видимо, и до что ни есть лучшего строевого леса Антипов добрался, не зря гулеванить собираются с курортным завхозом. Продав Антипов лес, продал как свой собственный, а вывезут его мужики – пойдешь потом докажи, что лес ворованный, а не купленный в другом лесничестве.

На подходе к озеру Чаешному Мишку нагнал дождь. Дождей путевых в этом году еще не было, разве что непогодило с туманами да моросью, потому земля стояла хоть и прогретая почти везде, но серая, неумытая, без зеленого буйства трав и березняков. Мишка просмотрел начало в перемене погоды и, выйдя к Чаешному, успел промокнуть под частым и каким-то знобко-торопливым дождиком. Вот незадача, сокрушался он. Что теперь станет с его новой формой лесничего? Но не бежать же из-за этого домой. Надо непременно слетать в деляну, убедиться, там ли мужики сейчас и действительно ли Антипов так нахально и почти в открытую торгует государственным лесом, а дождь – что ж, он ему на руку, он ему только помощник, можно без особой скрытности и под шумок дождя пройти и мимо захоронившегося зверя, и укрывшейся да примолкнувшей птицы, и, само собой, досмотреть за лихим человеком.

От Чаешного, где совсем недавно браконьеры загубили олениху, до вырубki Мишка долетел пулей. Легкие отцовские поршни, заменяющие сапоги, казались совсем невесомыми – нога ступала мягко, чувствуя каждую веточку. Тепло и удобно в такой обуви хоть в снег, хоть в слякоть, хоть в жару несусветную. Раз в месяц пропитал их березовым дегтем – и летай как на крыльях, не чувствуя ног. Еще издали, сквозь дождевое мельтешенье, в мутных провалах меж блестящих от влаги берез заметил груженные лесом подводы и, остановившись за кустом боярышника, осмотрелся, прислушался. Четверо мужиков, препираясь друг с другом и матерно ругаясь на погоду, валандались у первой подводы – колесо меж двух пеньков застряло. Трех Мишка знал: приземистый и рукастый, похожий на тощего медведя, Тимоня, школьный сторож и конюх; гусиновских двое – Корней одноглазый и Кила. А четвертый – совсем незнакомый, наверное, рабочий с курорта. Должно быть, завхоз Семен Митрофанович прислал, который сам-то сейчас, поди, уже лакомится свежей баранинкой в доме Антипова. Значит, все сходится: на курорт лес продан.

Мишка присел, натянул повыше воротник кителя, руки спрятал в мокрых рукавах и чуть не заплакал от досады. Ну что он может один против четырех мужиков, да не просто затюканных мужичков, забракованных для военной службы, а самых настоящих кержаков, способных ко всяким делам, потому и многое им нипочем. Умудрились ведь Корней да Тимоня пройти живыми через Гражданскую войну, уцелеть при всякой власти да и

потом остаться такими же чересчур самостоятельными. Вот и попробуй ухвати их голыми руками...

Мишка еще больше расстроился, представив, как смотрят сейчас на него, сидящего за кустом, мокрого и беспомощного, Татьяна Солдаткина, Яков Макарович Сыромятин, ленинградская девчонка, которая видела войну, и ему стало жалко самого себя. Сразу тоскливо засосало под сердцем, есть захотелось до того нестерпимо, что голова закружилась. Однако не испугался Мишка, наоборот, первый раз здраво рассудил, что петухом кидаться на воров проку не будет – хитер Антипов, коль огласка случится, вмиг от всего открестится, мол, знать ничего не знаю, повезли мужики лес на курорт, так, значит, и там он нужен, да Мишку же вместе с Солдаткиной обвинит, что дальше носа своего видеть не хотят, курорт выздоравливающими офицерами забит, фронтовиками, и пойдет куролесить, словами играть, намолотит семь верст до небес и сухим из воды выскочит, а Мишке опять целый остров на порубку для общественной бани выделять. Вот и получится – Мишка останется в дураках, Антипов при барыше, а леса станет меньше на целую рошу. Однако и сидеть так трусливым мокрохвостым сусликом Мишка не мог, не в его это характере. Ладно, овечкой суягной поступился, не стал грозиться, а тут ведь не свой огород, и ему все равно сейчас надо что-то придумать и хоть битым быть, но Антипова с друзьями непременно объегорить, иначе все пойдет как сказал дед Яков: лиходеи обнаглеют и потащут народное добро.

Может быть, мельница-то и убитая олениха тоже дело рук Антипова, ишь куда руки его тянутся – что плохо лежит, Антипову тут и неймется под себя подгрести. «Вот зараза, – усмехнулся Мишка, – говоришь, плакали, а теперь, значит, мы должны плакать? Посмотрим. Что бы еще вспомнить про тебя, чтоб шибче разозлиться, а то мужики, кажись, вызволили подводу, стоят, курят, сейчас покатыт из деляны?»

Мишка выглянул из-за куста и, хоронясь, не выпуская из глаз мужиков, направился к последнему возу. Вот и разговор уже слышен.

Корней: «А то и осторожничаем, надо, стало быть. Вишь, лес-то отборный. Переусердствовали малость, лишний довесок выпластали, потому и приказ тебе даден: две ездки – и шито-крыто».

Курортский мужик: «Штой-то я не пойму, паря. Семен Митрофанович ничего такого сурьезного не сказывал».

Тимоня: «Поговорили?»

Кила: «Наше дело сторона, кто дает, тот и барин. Поехали?»

Корней: «Поедешь тут... Давай по одной выводить из деляны, того и гляди, воз на пень посадишь. А поспешить надо, лесничок наш как бы не пожаловал, сквозь землю, дьяволенок, видит».

Курортский мужик засуетился, ухватил за узду первую пару лошадей, воз тяжело и медленно тронулся по вязкой лесной дернине. Корней с Килой, один слева, другой справа, подгоняли лошадей и подпирали воз плечами.

А Тимоня вдруг круто обернулся и, растопырив руки, пошел в сторону крайней подводы. Мишка поразился чуткости Тимони, но продолжал стоять скрытно, лишь сдернул с передка подводы новенький сыромятный кнут: а вдруг пригодится? Тимоня подошел к лошадям, заметил, что кнута на возу нет, хмыкнул не спеша, как бы с ленцой, опустил одну руку на круп лошади, другой оперся на торчащий комель в передке телеги и, словно выстреленный из пушки, перемахнул на длинных обезьяньих руках на другую сторону. Мишка успел юркнуть под телегу и вмиг оказался там, где только что стоял Тимоня.

– Ну и ловок ты, Тимоня. Да и я прыток на ноги. Убегу ведь, тебе же хуже будет.

– Давно здесь ошиваешься? – как ни в чем не бывало спросил тот, зорко и хитровато взглядывая на Мишку из-под надвинутого на глаза мятого и потемневшего от дождя войлочного капелюха.

– А я всегда в лесу. И у Чаешного был в тот день, когда пленных немцев привезли. Помнишь?

– К Чаешному ты опоздал, однако.

– Ага. Зато здесь успел. С кем олениху-то кокнул?

– Пустое мелешь, не я брал олениху.

– А откуда знаешь?

– Откуда и ты... Ладно, Михалко, хватит лясы точить. Уходи от греха.

– Не уйду!

– Мужики вон идут. Побьют тебя.

– А ты заступишься.

– Эвон! Может, я первый погубитель в деревне?

– Врешь, Тимоня! Ты же в Гражданскую и после, когда коммунаров казнили, не стрелял в деда Якова.

– Так дурная ж война была... – раненым быком замычал Тимоня. – Брат на брата шел.

Што ты знаешь?

– Знаю. И счас война. Еще похлеще. А я, может, теперь один за всех коммунаров отвечаю. Понял?

– Уйди, Мишка!

– Уйти и молчать? Ладно, уйду. Много вас на одного-то. Но молчать, однако, не в моих правилах, – Мишка и в самом деле начал медленно отступать. Хоть и боялся он споткнуться, пятясь-то, но и сводить глаз с посеревшего лица Тимони было нельзя ни на секунду. – Кнутик я на память возьму. Хороший кнут у тебя, Тимоня, семиколенный, и колечки медные, не заржавеют... А лес у пожарки сгрузите. И вторую езду сегодня же сделаете. Тут ведь езды-то...

Подошедшие мужики остановились в замешательстве, не узнав Мишку в его новой форме. Этим и воспользовался Мишка. Он резко, с оттяжкой, как это делают пастухи, хлестанул кнутом. Рассекая воздух, бич хлопнул ружейным выстрелом. Тощий Кила аж подскочил, будто его жиганули каленым прутком по запяткам.

– Бог в помощь, разбойнички! – Мишка хохотнул, сделал еще пару шагов встречь мужикам. – Долго валандаетесь. Антипов уже получил в Совете на вас деньги за перевоз. Солдаткина не хотела давать, да я уговорил, ведь лес-то вы седни весь к пожарке перетасщите. Еще Антипов просил передать, как освободитесь, так сразу к нему на хутор. Они там с Лапухиным овечку зарезали и вина две четверти приготовили. Пир вам устраивает Антипов и полный расчет за работу. Ну а я досмотрю, как вы работу справите... – он еще с большим шиком, подшагнув к мужикам, хлестко выстрелил кнутом перед самыми их носами. Мужики отшатнулись и заслонили глаза руками, а когда опамятовались от такого нахального поведения молодого лесника, того и след простыл.

Исчез Мишка как сквозь землю провалился. Диковато заозирался Корней, даже под телегу заглянул, плюнул с досады, выхватил с воза топор, но его осадил Тимоня:

– Охолонь, сват... Умойся дожджичком-от.

Сам Тимоня стоял, облокотившись на бревна, задумчиво глядел сквозь дождь, в его глазах мелькали искорки смеха и досады, зная, сильно понравилась ему отчаянная выходка Мишки Разгонова: «Ить чо творит, паршивец, сурьезных мужиков с носом оставил. Таперица, крути не крути, по его делать надо».

– Чо делать-то будем? – спросил вконец удрученный случившимся Корней. – Куда лес-от повезем?

– Ты што, и на ухо слаб ишо стал? – криво усмехнулся Тимоня, намекая на изъян одноглазого свата.

– Но-но!

– Не запряг понужать-то. Слышал же: Танька Солдаткина деньги выдала.

– У-у! Гаденыш...

– Кто?

– Антипов... Сызнова облапошил.

– Зря. Он овечку зарезал.

– Да врет, поди, лесничок-то.

– Насчет овечки правду сказал. Я седни утром свежевать ее ходил. Зятек твой посылал.

Подскочил курортский мужик. Он понял, что лес уворован и что лесник их «застукал» тепленькими.

– Все, мужики! Сгружай лес обратно. В воровстве я вам не товарищ. У меня жинка, дети.

– А у нас щенки, чо ли? – взревел Корней. – Ну, давай, сгрузим, по домам разбежимся, а дальше что? Утром всех по одному к участковому? А это не хошь? – и Корней поднес к лицу мужика увесистый кулак.

– Поговорили? – ни на кого не глядя, подал голос Тимоня. – Тогда поехали...

– Дык оно, конечно... – встрял продрогший и, как все, промокший под непрекращающимся дождем Кила. – Токо куда?

Мишка выбежал из лесу к грейдерной дороге. Не минуют возчики большака, ведь с одной стороны болотистые осинники, а с другой – пашня и озеро Чаешное. Путь из деляны только сюда, и уж здесь-то мужикам никуда не деться – то ли сворачивать в Нечаевку, то ли в сторону Юрги до курортской дороги. Все будет зависеть от Тимони, а вот настроение его Мишка так и не понял, потому надо ждать их здесь и ждать скрытно, теперь-то уж они не дадут слабинку. Пусть пока думают, что лесничок давно в Нечаевке у печки портки сушит. Оно бы, конечно, лучше сейчас пулей лететь в сельсовет к Татьяне Солдаткиной да еще участковому позвонить, на худой конец деда Якова позвать на помощь, но Мишка боялся упустить из виду пособников Антипова, с этими архаровцами держи ухо востро, от них всего ожидать можно – и глазом не успеешь моргнуть, так лес запрячут, что ни с одной милицией не разыщешь, да еще тебе же по шее и наkostenяют.

Зарядивший дождь совсем не походил на весенний – ни грома, ни малого проблеска спрятавшегося где-то совсем близко жаркого солнца, ни теплого и радостного благоухания пробуждающейся земли. Весну упрятала холодная занавесь первого обложного проливня. Через день-другой вздохнет умытый лес, березы проснутся, задышит под солнцем в полную силу земля, а пока тоска и озноб да скучная боль в желудке, ведь вот в такую неуютную погоду почему-то и есть всегда хочется и хочется, чтобы тебя пожалели или хотя бы увидели, какой ты разнесчастный в сию минуту.

Крепко сжав зубы, которые то и дело выбивали чечетку, тоненько, по-щенячьи поскуливая, Мишка разгреб старую, полуистлевшую копешку соломы, приткнутую к разросшимся кустам мелкого дубняка на краю поля. Солома слежалась плотными пластами и под тяжелым верхним слоем парниково дышала теплом. Мишка выбил ногами ямку, устроился поудобнее и накрылся верхним пластом как свалявшейся старой попоной, только пахнувшей не конским потом, а горьковатой прелью и мышиным пометом. Мокрый китель и галифе теперь будут заляпаны истлевшей мякиной и соломенной трухой, мать ахнет, когда Мишка вернется домой. Но фуражку он сберег, сунул ее за пазуху – фуражка для него самый главный козырь во взрослой должности и гордость, коль такая фуражка на голове, можно при встрече с Федей Ермаковым и честь отдать как служивый служивому.

Сначала Мишка услышал пофыркивание лошадей, окрики возчиков, поскрипывание тяжелогруженных дрог, а потом на большаке появились одна за другой все четыре подводы. Не останавливаясь, они сворачивали в сторону Нечаевки. Мужики сидели на возах как большие нахохлившиеся птицы.

«Вот и поделом вам, – уже без особых сомнений и с облегчением вздохнул Мишка, – а то ишь чего удумали... Ну, теперь Антипов поедом меня есть будет, теперь жди от него пакости не в мировом масштабе, а точно по адресу – ему, Мишке Разгонову. А может, и не посмеет, с бабами он еще мастак воевать, а на мужиков порошу не хватает. Правда, я в мужики еще не вышел, но ведь Кузя Бакин заморыш заморышем, а вон как звезданул агента по кумполу осиновым полешком».

Возчиков назад ждать пришлось недолго – споро обернулись, их было все так же четверо, они гнали лошадей, видимо, торопились засветло управиться с этим злополучным строевым лесом и успеть еще к Антипову на жаркое из свежатины. Мишка и на этот раз решил до конца проследить за мужиками, а то ведь, не дай бог, сплавят вторую езду не по назначению. Он уже отогрелся в сухости и тепле, настроение лучше некуда – еще бы, такое дело шутейно провернул, а что могли мужики голову ему отвинтить, так ведь волков бояться – в лес не ходить. А Тимоня-то догадлив, не попер на рожон, сообразил, что если лес будет в Нечаевке, то и Мишка зря трепаться не станет. Мишке-то что надо: чтоб порядок был и чтобы лишку живых деревьев не пускать на порубку. Тимоня с Антипова должное возьмет. Раз общие тайны у них, то и счета свои.

День кончился как-то сразу, на западе тихо истлела еле пробивающаяся сквозь низкую облачность трепетно-розовая светотень. Сгустилась тишина. Утихомиренное ненастьем, примолкло все сущее в лесу, только дождь рождал однозвучный шлепоток по набухающей моросью земле да еще мягкие, притененные колокольца собранных крупных капель на безлистных еще ветках срывались и тонули в объявившихся лужицах под кронами деревьев.

Мужики на сей раз проехали по большаку в сторону Нечаевки уже в подкравишихся сумерках. Мишка вспомнил, как бросил наугад Тимоне, что он, мол, всегда в лесу, и не удержался от мальчишеского соблазна доказать на деле те слова, пусть и Тимоня, и курортковский мужик, и особенно гусиновские горлопаны Кила с Корнеем увидят его и пусть запомнят, что Мишка действительно всегда в лесу, всегда может оказаться на узкой дорожке в самый неподходящий момент для лиходеев. Он выбрался из укрытия, быстро достал спичечный коробок в непромокаемом медном футлярчике и поджег скрывавший его до поры стожок. Шипя, выбрасывая искры и расталкивая серый с лиловыми подпалинами дым, понад кустами занялся огонь.

Мишка надел на голову фуражку, одернул китель, сбил кнутовищем солому с галифе и стал к огню так, чтобы его увидели проезжающие невдалеке возчики. И конечно же они его увидели и конечно же удивились тому, что он один в лесу, в такую позднюю пору да еще среди непогоды, ну и к тому же у костра, открывающего лесника – хоть из ружья по нему стреляй. Тимоня, пожалуй, не удивится, подумалось Мишке, Тимоня поймет, почему именно в этом, а не в другом месте оказался вездесущий лесничок в форменной фуражке, почему именно в это неудобное время и зачем костер – все поймет, не дурак ведь Тимоня совсем. Мишка представил, как посмотрится он в отблесках костра со стороны большака: спокойно наблюдает за мужиками, которые вольны сейчас хоть биться головами о бревна, хоть кусать с досады ременные вожжи, а вот поделать в данный момент с Мишкой ну ничегошеньки не могут.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.